

# Фридрих Ницше: мученик познания

Свасьян К.А.



Публикуется по изданию: Фридрих Ницше,  
сочинения в 2-х томах, том 1, издательство «Мысль», Москва  
1990,  
с дополнениями по изданию по изданию «Ноян Топан», Ереван,  
1999

Он одинок и лишён всего, кроме своих  
мыслей: что удивительного в том,  
что он часто нежится и лукавит  
с ними и дёргает их за уши!  
— А вы, грубияны, говорите — он скептик.

*Из посмертно опубликованных рукописей*

Фридрих Ницше: мученик познания .....	1
1. Несостоявшийся “профессор” .....	2
2. “Мы, бесстрашные” .....	7
3. Лабиринт. Ариадна. Распятый .....	14
4. Посмертные судьбы .....	19
История одного поражения .....	27
1. Расхвачанное одиночество .....	27
2. Житие Родиона Раскольников. (Немецкий вариант) .....	33
3. Испытание пустотой .....	41
4. Совратитель или воспитатель? .....	46
ПЕРВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ .....	49
ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНИЕ .....	53
ТРЕТЬЕ ДОПОЛНЕНИЕ .....	53
ЧЕТВЕРТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ .....	54
ПЯТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ .....	56
ШЕСТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ .....	59
СЕДЬМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ .....	64

## 1. Несостоявшийся “профессор”

Сначала краткое curriculum vitae в беглом наброске самоизложения<sup>1</sup> : “Vita. Я родился 15 октября 1844 года на поле битвы при Лютцене. Первым услышанным мною именем было имя Густава Адольфа. Мои предки были польские дворяне (Ницки); должно быть, тип хорошо сохранился вопреки трём немецким “матерям”. За границей меня обычно принимают за поляка; ещё этой зимой я значился в списке иностранцев, посетивших Ниццу, comme Polonais. Мне говорят, что моя голова встречается на полотнах Матейко. Моя бабушка принадлежала к шиллеровско-гётевскому кругу в Веймаре; её брат унаследовал место Гердера на посту генерал-суперинтенданта в Веймаре. Я имел счастье быть воспитанником достопочтенной Шульпфорты, из которой вышло столько мужей (Клопшток, Фихте, Шлегель, Ранке и т. д., и т. д.), небезызвестных в немецкой литературе. У нас были учителя, которые оказали бы (или оказали) честь любому университету. Я учился в Бонне, позже в Лейпциге; старый Ричль, тогда первый филолог Германии, почти с самого начала отметил меня своим вниманием, 22-х лет я был сотрудником “Центральной литературной газеты” (Царнке). Ко мне восходит основание филологического кружка в Лейпциге, существующего и поныне. Зимой 1868/69 г. Базельский университет предложил мне профессию; я даже не был ещё доктором. Вслед за этим Лейпцигский университет присудил мне степень доктора весьма почётным образом: без какой-либо защиты, даже без диссертации. С пасхи 1869 по 1879 г. я жил в Базеле; мне пришлось отказаться от моего немецкого подданства, так как, будучи офицером (конный артиллерист), я не смог бы отклоняться от слишком частых призывов па службу, не нарушая своих академических обязанностей. Тем не менее я знаю толк в двух видах оружия: в сабле и пушках — и, возможно, ещё и в третьем... В Базеле, несмотря на мою молодость, всё шло как нельзя лучше; случалось, в особенности при защитах докторских диссертаций, что экзаменуемый был старше экзаменатора. Большой милостью, выпавшей мне на долю, оказалась сердечная близость между Якобом Буркхардтом и мною — несколько необычный факт для этого весьма чужающегося всякого общения мыслителя-отшельника. Ещё большей милостью было то, что у меня с самого начала моего базельского существования завязалась теснейшая дружба с Рихардом и Козимой Вагнерами, которые жили тогда в своём поместье Трибшен, возле Люцерна, словно на каком-то острове, отрешённые от всех прежних связей. Несколько лет делили мы между собой всё великое и малое; доверие не знало границ. (Вы найдёте в седьмом томе Собрания сочинений Вагнера “послание”, опубликованное им мне по случаю “Рождения трагедии”.) С этого момента и впредь я познакомился с большим кругом интересных людей (и “людины” — Menscheninnen), в сущности почти со всем, что растёт между Парижем и Петербургом. К 1876 году здоровье моё ухудшилось. Я провёл тогда зиму в Сорренто с моей давнишней подругой баронессой Мейзенбург (“Воспоминания идеалистки”) и симпатичным доктором Рэ. Состояние не улучшалось. Крайне мучительная и цепкая головная боль истощала все мои силы. С годами она нарастала до пика хронической болезненности, так что год насчитывал тогда для меня до 200 юдольных дней. Недуг должен был иметь исключительно локальную причину; о какой-либо невропатологической подоплёке нет и речи. Я никогда не замечал за собою симптомов душевного расстройства, даже никакого жара, никакой обморочности. Мой пульс был тогда столь же медленным, как пульс первого Наполеона (=60). Моей специальностью было: в течение двух-трёх дней напролёт с совершенной ясностью выносить нестерпимую боль cru, vert, сопровождаемую рвотой со слизью. Распространили слух, будто я в лечебнице для душевнобольных (и даже умер там). Нет большего заблуждения. Зрелость моего духа приходится как раз на это страшное время; свидетельство — “Утренняя заря”, написанная мною в 1881 году, когда я пережил зиму невообразимо плачевного состояния, оторванный от врачей, друзей и родных. Книга служит для меня своего рода “динамометром”: я

<sup>1</sup> Г.Брандесу от 10.04.1888 года. Письма Ницше цитируются по: F.Nietzsche, Samtliche Briefe. Kritische Studienausgabe: In 8 Bde/Hrsg. Von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, 1986 (далее: Br., том и страница). Произведения Ницше цитируются по: : F.Nietzsche, Kritische Studienausgabe. Hrsg. Von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Munchen, 1986 (далее KSA, том и страница)

сочинил её с минимумом сил и здоровья. С 1882 года дела, разумеется весьма медленно, начали снова поправляться: кризис был преодолён (мой отец умер очень молодым, как раз в том возрасте, в котором я сам был ближе всего к смерти). Я и сегодня нуждаюсь ещё в крайней осторожности: ряд условий климатического и метеорологического порядка оказывается неизменно. Совсем не выбором, а неизбежностью является то, что я провожу лето в Верхнем Энгадине, а зиму — на Ривьере... В конце концов болезнь принесла мне величайшую пользу: она выделила меня среди остальных, она вернула мне мужество к себе самому... К тому же я, сообразно своим инстинктам, храброе животное, даже милитаристическое. Долгое сопротивление слегка озлобило мою гордость. — Философ ли я? — Но что толку из этого!..” Остаётся добавить, что к автору этого письма (этой жизни!) Фридриху Вильгельму Ницше — пасторскому сыну, профессору классической филологии Базельского университета и преподавателю греческого языка Базельского педагогического института и потом уже, до последних минут сознательной жизни, одинокому и “безродному” скитальцу — как нельзя лучше подходит рассказанная им самим в книге о Заратустре притча о трёх превращениях духа: “как дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, младенцем лев”. Начало было ослепительным: “старый Ричль... отметил меня своим вниманием”. Сказано более чем скромно. Вот отрывок из письма Ричля, рекомендующего на должность профессора... ещё студента: “Среди стольких молодых дарований, развившихся на моих глазах в течение 39 лет, я не знал никого, кто в столь раннем возрасте обладал бы такой зрелостью, как этот Ницше. Если ему суждено долго прожить — дай ему Бог этого! — я предсказываю, что однажды он займёт ведущее место в немецкой филологии. Сейчас ему 24 года: он крепок, энергичен, здоров, силён телом и духом... Здесь, в Лейпциге, он стал идолом всего молодого филологического мира. Вы скажете, я описываю Вам феномен; что ж, он и есть феномен, и притом несколько не в ущерб своей любезности и скромности”. И ещё: “он может всё, чего он захочет”<sup>2</sup>. Хотения на этом — начальном — отрезке жизненного пути вполне совпадали ещё с академическими представлениями о карьере; тон задавала респектабельная *imago* учёного-специалиста, не нарушаемая покуда тревожными сигналами будущей *imago* “верблюда”, он и в самом деле мог всё, чего хотел, этот чудо-мальчик и “*канонир 21-й батареи конного подразделения полевой артиллерии*”, смогший в один приём — двумя-тремя статьями — взять штурмом решающие высоты классической науки о древностях. Но — “милый друг, *tant de bruit pour une omelette?*” (столько шуму из-за одного омлета?) (Письмо к Э. Роде от 1 — 3 февраля 1868 г.), а между тем ничего, кроме “омлета”, и не требовала от своих воспитанников безмятежная академическая судьба, посетовавшая однажды устами берлинского академика Дюбуа-Реймона на Фауста, который предпочёл женитьбе на Гретхен и университетской профессуре... рискованные приключения и в общем досадную не солидность. К не солидности — можно сказать со всей уверенностью — эта душа была предрасположена отроду; представить себе Фридриха Ницше таким “новым Ричлем”, доживающим до почтенной седины и углублённо толкующим в окружении учеников какой-нибудь ещё один “источник”, — картина не менее несуразная, чем семейная фотография доктора Фауста с женой (Гретхен?), детьми и внуками; в письме, отправленном Якобу Буркхардту 6 января 1889 г. из Турина на четвёртый день после начавшейся эйфории, стало быть уже “оттуда”, ситуация получит головокружительно-“деловое” разъяснение, где “сумасшедшему” — этой последней и уже сросшейся с лицом маске Ницше — удастся огласить буквальную мотивацию случившегося: “Дорогой господин профессор, в конце концов меня в гораздо большей степени устраивало бы быть славным базельским профессором, нежели Богом; но я не осмелился зайти в своём личном эгоизме так далеко, чтобы ради него поступиться сотворением мира” (Вг.8, 577-578). Что “*коллеге*” Буркхардту не оставалось по прочтении этого письма ничего иного, как считать бывшего “*коллегу*” Ницше свихнувшимся с ума, более чем понятно. Последовавшая вскоре госпитализация “*пациента*” Ницше оказалась по существу лишь однозначным медицинским резонансом смутных чувств “*коллеги*” Буркхардта которому и в дурном сне не приснилось бы, что приведенный выше пассаж мог бы заинтересовать

<sup>2</sup> J.Srtoux, Nietzsche's Professur in Basel. Jena, 1925. S 32,36.

отнюдь не одних медиков. Профессор, обменивающий кафедру и жалование на вакансию Бога, едва ли мог рассчитывать на что-либо большее, чем ясный и бесспорный диагноз. Вопрос в другом: не скрывается ли за медицинской ясностью этого диагноза иная, более ясная диагностика? – Допустив, что профессорам удалось бы однажды перестать притворяться простофилями и серьезно отнестись к смыслу своих занятий... Ибо: поскольку человек, носящий маску “*профессора*” есть по определению “*ученый*”, его генеалогия восходит к Первой книге Бытия (3,5), именно: к тому монументальному речению Люцифера, которое без обиняков может считаться метрикой профессорского рода: “И будете как *Боги*”. Ничего удивительного в том, что генезис этот в тысячелетиях был предан совершенному забвению; профессора, разумеется, предпочли скорее рассуждать о Боге, нежели становиться Богом. Понятно, что всякая попытка до вспоминаться до своего исконного смысла и самолично восстановить распавшуюся связь, автоматически зачислялась по ведомству психиатрии. Эпоха гуманизма реагировала на вещи, запредельные её пониманию всё-таки иначе, чем мрачное средневековье; норме костра она предпочитала норму смирительной рубашки.

Жизнь Ницше – от блистательного дебюта 24-летнего “*профессора*” до 44-летнего “*туринского монарха*” – представляет собой удивительно последовательное покушение на эту норму. Понятно, по крайней мере в ретроспективном обзоре, что всё должно было зависеть от сроков появления на сцене “*искусителя*”; в этом случае их оказалось двое; все предсказания и надежды старого Ричля обернулись химерами в момент, когда юный студизус впервые раскрыл том мало известного ещё и не пользующегося решительно никаким доверием в университетских кругах философа Шопенгауэра. “Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав первую его страницу, вполне уверены, что они прочитают все страницы и вслушаются в каждое сказанное им слово... Я понял его, как если бы он писал для меня” (KSA, 1, 136). Отвлекаясь от всего, что мог бы вычитать из сочинений родоначальника европейского пессимизма этот многообещающий вундеркинд филологии — а вычитал он из них ровно столько, сколько хватило ему впоследствии для уличения недавнего кумира в фабрикации фальшивых монет, — одно оказалось усвоенным сразу же и бесповоротно: вкус к маргинальности, исключительности, уникальности. Едва ли, впрочем, дело ограничивалось здесь чтением в обычном смысле слова; Шопенгауэр был не столько прочитан, сколько вчитан в жизнь и судьбу, вплоть до катастрофических изменений в её темпе и ритме — “кто пишет кровью и притчами, — скажет Заратустра, — тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть”(KSA, 4, 48); можно было бы уже тогда позволить себе некоторые рискованные догадки о том, чем бы мог стать так заученный наизусть автор “*Мира, как воли и представления*” с его неподражаемо ядовитым презрением к “*профессорской философии профессоров философии*” в жизненных судьбах этой родственной ему души. Встреча с Рихардом Вагнером в ноябре 1868 г. оказалась решающей; маргинальность, исключительность и уникальность предстали здесь воочию, *in propria persona*; это была сама персонифицированная философия Шопенгауэра, и — что важнее всего — персонифицированная не через почтенные отвлечённости “*четвероякого корня закона достаточного основания*”, а в гениальной конкретизации 3-й книги 1-го тома “*Мира, как воли и представления*”, т.е. через музыку, этот единственный по силе адекватности синоним “*мировой воли*”. Потрясение, несмотря на разницу в возрасте, было обоюдным: 56-летний композитор едва ли не с первой встречи расслышал в своём 25-летнем друге героические лейтмотивы ещё не написанного “*Зигфрида*”: “Глубокоуважаемый друг!.. Дайте же взглянуть на Вас. До сих пор немецкие земляки доставляли мне не так уж много приятных мгновений. Спасите мою пошатнувшуюся веру в то, что я, вместе с Гёте и некоторыми другими, называю немецкой свободой”<sup>3</sup>. Понятно, что такой призыв мог быть обращён именно ко “*льву*”, и более чем понятно, каким разрушительным искусом должен был он откликнуться в “*молодом льве*” (впечатление Пауля Дёйсена, школьного друга Ницше, относящееся к этому периоду), “*льве*”, всё ещё прикидывающемся “*верблюдом*” во исполнение

---

<sup>3</sup> E. Foster-Nietzsche, Das Leben Friedrich Nietzsches. 1. Abt. Bd 2. Leipzig, 1904. S.15.

заветов науки. Попадание оказалось безупречным во всех смыслах: спасти веру в *“немецкую свободу”*, и не чью-либо, а веру творца *“Тристана”* и *“Мейстерзингеров”*, и не просто творца, а творца непризнанного, гонимого, третируемого, всё ещё божественного маргинала и отщепенца в культурной табели о рангах XIX в. (будущий разрыв с Вагнером символически совпадёт с ритуалом канонизации байрейтского принцепса и торжественным внесением его в реанимационную мировой славы — не без решительного и парадоксально-коварного содействия его юного апостола), — всё это не могло не вскружить голову. Прибавьте сюда ещё и то, что в *“молодом льве”*, терзающемся своей блистательной *“верблюжьей”*, сидело самое главное действующее лицо, настоящий протагонист всей этой жизни, не сходящий со сцены даже и тогда, когда вконец совращённые им прочие её участники все до одного очутились в базельской, а потом и в иенской лечебнице для душевнобольных, и продолжающий вплоть до физического конца, но уже на опустевшей сцене разыгрывать действительное на этот раз *“рождение трагедии из духа музыки”*, — музыкант<sup>4</sup>. Музыкант не только в переносном, но и в прямом смысле слова: автор множества музыкальных композиций и песен, об одной из которых как-то *“весьма благосклонно”* отзывался Лист; несравненный импровизатор — уже много спустя, после разрыва отношений, Козима Вагнер будет с удивлением вспоминать фортепианные фантазии *“профессора Ницше”*, а Карл фон Герсдорф, школьный друг, рискнёт утверждать, что *“даже Бетховен не смог бы импровизировать более захватывающим образом”*, — переносный смысл, впрочем, оказался здесь более решающим, чем прямой: давнишняя мечта романтиков, волшебная греза Давидсбюндлеров о сращении слова и музыки, высловлении музыки — и не в подражательном усвоении внешних красот, а по самому существу и *“содержанию”* — обрела здесь едва ли не уникальную и, во всяком случае, шокирующую жизнь; *“если бы богине Музыке, — так означено это в одном из опубликованных posthum афоризмов времён “Заратустры”, — вздумалось говорить не тонами, а словами, то пришлось бы заткнуть себе уши”*(KSA, 10, 104). Скажем так: в этом случае ей и не приходило в голову ничего другого; первое — хотя и официально-сдержанное, но уже камертонно-загаданное наперёд — затыкание ушей произошло с выходом в свет посвящённой, формально и неформально, Рихарду Вагнеру книги *“Рождение трагедии из духа музыки”* (1872). *“Невозможная книга”* — такой она покажется самому автору спустя 15 лет; такой она показалась большинству коллег уже по её появлению. Виламовиц-Мёллендорф, тогда ещё тоже один из претендентов на *“первое место”*, удосужился написать специальное опровержение; Герман Узенер счёл уместным назвать книгу *“совершенной чушью”* и позволить себе такой резольютивный пассаж перед своими боннскими студентами: *“Каждый, кто написал нечто подобное, научно мёртв”*; даже *“старый Ричль”* не удержался от по-отцовски мягкой журьбы в адрес своего любимца: *“остроумное похмелье”* (geistreiche Schwiemelei). Хуже обстояло с делами университетскими: студенты-филологи сорвали своему идолу зимний семестр 1872/73 г.; можно догадаться, чем шокировала эта дважды в столь различных смыслах *“невозможная книга”*. Едва ли решающую роль играла здесь виртуозная лёгкость (ну да, импровизационность!) исполнения, ещё меньше должна была смущать резкость оценок в связи с Сократом (*“декадентом”*) и вообще *“сократической культурой”*. Ф. Ф. Зелинский отвёл в своё время эту причину тонким напоминанием о так называемой Prugelknabenmethode, распространённой как раз среди немецких филологов, когда учёному дозволяется в целях своеобразной профессиональной релаксации избирать себе какого-нибудь героя древности в качестве *“мальчика для битья”*<sup>5</sup>. Такого Сократа — кого угодно — автору *“Рождения трагедии”* простили бы; непростительным оказалось другое:

---

<sup>4</sup> *“Когда г-жа Ницше посещала Гельцеров, она по обыкновению приходила вместе со своим сыном, который следовал за нею, как дитя. Чтобы избежать беспокойств, она вела его в гостиную и усаживала возле двери. Потом она подходила к роялю и брала несколько аккордов, отчего он, набравшись мужества, потихоньку приближался к инструменту сам и начинал играть, поначалу стоя, а после на стульчике, куда его усаживала мать. Так он “импровизировал” часами, в то время как г-жа Ницше в соседней комнате могла оставлять своего сына без присмотра и быть спокойной за него ровно столько времени, сколько продолжалась игра на рояле”* (C.A. Bernoulli, Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche. Eine Freundschaft. Bd 2. Iena, 1908. S.107).

<sup>5</sup> См. его вводную статью *«Фридрих Ницше и античность»* в кн.: Ф.Ницшеб Полн. собр. Соч. Т.1.М., 1912. С. XVII.

нарушение классических единств, где афинская древность врывается в злобу дня, где ликующе-кровавое шествие бога Диониса переносилось из мифической Фракии в современность, где — короче говоря — кончалась наука о почве и судьбе и дышали сами почва и судьба. “Я нарушаю ночной покой, — так будет сказано впоследствии, хотя и в связи с другой книгой, но всё ещё и всегда и в этой связи. — Во мне есть слова, которые ещё разрывают сердце Богу, я — rendez-vous опытов, проделываемых на высоте 6000 футов над уровнем человека. Вполне достаточно, чтобы меня “понимали” немцы... Но бедная моя книга, как можешь ты метать свой жемчуг — перед немцами?” (KSA, 13, 540) Это уже рык “льва”, изготовившегося к последнему прыжку в “Kinderland” — “страну детей”, пятнадцатилетием раньше дело шло всё ещё о втором — промежуточном — превращении; “ибо истина в том, — так скажет Заратустра, — что ушёл я из дома учёных, и ещё захлопнул дверь за собою”. Одного вагнеровского восторга (“Я не читал ничего более прекрасного, чем Ваша книга”) оказалось вполне достаточно, чтобы перевесить внутренний разрыв, — внешне маскарад “профессуры” продлится до 1879 г. и оборвётся... по состоянию здоровья; впрочем, когда в начале 80-х гг. здоровье временно улучшится и встанет вопрос о “трудоустройстве”, университет займёт уже жёсткую позицию отказа. “И когда я жил у них, я жил над ними. Поэтому и невзлюбили они меня” (KSA, 4, 161). Сомневаться на этот счёт не приходится; но вот что интересно: “научно-мёртвое” “Рождение трагедии” оказалось книгой во всех смыслах эпохальной, скажем так: не в последнюю очередь и научно-эпохальной<sup>6</sup>. Эта мастерская увертюра в слове, мерцающая коричнево-струнным золотом тристановских хроматизмов и неожиданно протыкающая их носорожьими вырёвываниями меди (“Скажу снова, в настоящую минуту это для меня невозможная книга”. - KSA, 1, 13), виртуозно фугированный контрапункт, разыгрывающий шопенгауэровскую дихотомию воли и представления в смертельно-бессмертном поединке двух греческих божеств, чисто юношеский Sturm und Drang знающего себе цену гениальничанья (достаточно безумного — скажем мы уже из нашего века словами авторитетного естествоиспытателя, — чтобы быть истинным), — превзошёл все ожидания. В самом скором времени стало очевидным; музыкальность книги не помеха научности, а трансфигурация самой научности (скрыто, но оттого не менее строго обосновывающей основные тезисы автора) в новую научность — хоть и отягчённую всё ещё мимикрией “северной” серьёзности, но вполне уже обещающую качество провансальской весёлости. Дело шло не о филологии, ни об эстетике, ни даже об “анти-Александре”, Вагнере, — дело шло об открытии Греции, греческой “энигмы”, той самой “рогатой проблемы”, которая прикидывалась в веках обсахаренной дидактической виньеткой в назидание юношеству и целым кладезем сюжетов в эксплуатацию придворному вдохновению, — стало быть, не просто об открытии, а о разоблачении Греции и в ней — самих истоков и будущих судеб Европы. То, что властным косноязычием разрывало просодическую ткань последнего Гёльдерлина, о чём спорадически догадывались отдельные и наиболее рискованные “неформалы” века<sup>7</sup>, предстало здесь во всеуслышание и, больше, как пугающе ясная “концепция”: впервые эллинский феномен диагностировался в опасном измерении психопатологии, где винкельмановско-шиллеровская гипсовая Греция оборачивалась бесноватым оскалом болезни, а сам “феномен” исчерпывался моментами перемирия между двумя богами, ночным Дионисом и солнечным Аполлоном, — по существу настоящей борьбой с собственным безумием под маской олимпийского спокойствия и автаркии. Ещё раз: дело шло не о научной значимости этой ясновидческой диагностики; скорее напротив, от неё и зависела значимость самой науки, — дело шло о новом видении вещей, менее всего — древних, более всего — злободневных; приёмы классической филологии сплошь и рядом преображались в предлоги; сама Греция выростала в гигантский предлог<sup>8</sup>... к философии

<sup>6</sup> Момент, остро отмеченный Ф.Ф.Зелинским (Указ. Соч. С. XVI-XVII): “В то мгновение, когда античность благодаря книге Ницше готовилась к одному из своих самых славных завоеваний в умах новой Европы, наука об античности в лице своих представителей-филологов исключила из своей среды её лучшего бойца!”

<sup>7</sup> Например, Гобино, охарактеризовавший греческую историю как “целиком самстеренную фикцию самого артистического из народов” (J.A.Gobineau, Histoire des Perses. T.2.Paris, 1869. P.360).

<sup>8</sup> (См. Первое дополнение)

Фридриха Ницше. Самой неотвлечённой, скажем мы, и вместе с тем самой радикальной и самой опасной философии из когда-либо бывших. Самой, говоря вслед за ним, одинокой... Уходя из дома учёных, он уходил не в вагнеровский пессимизм, как могло бы поначалу показаться ему самому, ни даже в традиционному понятию *Freigeisterei* (вольномыслие); будущее "льва", сбросившего с себя шлак "верблюда", оказывалось в этом случае просто неисповедимым. "Юмор моего положения в том, что меня будут путать — с бывшим базельским профессором, господином доктором Фридрихом Ницше. Чёрта с два! Что мне до этого господина!" (Письмо к М. фон Мейзенбург от 26 марта 1885 г.). Написанные после "Рождения трагедии" "Несвоевременные размышления" (из планируемых двадцати увидели свет только четыре) предстали некой учтивостью "льва", расстающегося со своим прошлым, но и не без *"ex ungue"*; таковы прощальные композиции Шопенгауэру и Вагнеру, таково блистательное покушение на Давида Штрауса, "филистера культуры" ("Я нападаю только на те вещи, против которых я не нашёл бы союзников, где я стою один — где я только себя компрометирую". KSA, 6, 274). Впереди простирались считанные годы неисповедимого: "научно-мёртвый" дух музыки, которому предстояло ещё доказать первую бурю юношеского вдохновения действительно родившейся из него трагедией.

## 2. "Мы, бесстрашные"

Правы те профессиональные философы, которые пожимают плечами, или разводят руками, или делают ещё что-то в этом роде при словосочетании "философия Ницше". Он совсем не философ в приемлемом для них смысле слова. Кто же он? Говорят: он — философ-поэт, или просто поэт, или философствующий эссеист, или лирик познания, или ещё что-то! Пытаются даже систематизировать его труды по периодам: романтико-пессимистический (от "Рождения трагедии" до "Человеческого, слишком человеческого"), скептико-позитивистический (до — отчасти — "Весёлой науки" и "Так говорил Заратустра") и, наконец, собственно "ницшеанский" (последние произведения). Возразить против этого было бы нечего, даже напротив, это могло бы вполне отвечать сути дела при условии, что искомой оставалась бы как раз суть дела. Философия такого ранга и масштаба, как ницшевская, всегда есть рассказ о некоем "событии", и если правила систематизации и таксономии распространяются на горизонтальную перекладину рассказа, то лишь в той мере, в какой она пересечена вертикальной перекладной названного "события". Чтобы составить себе теперь некоторое представление о "событии" Фридриха Ницше, можно обратиться к следующему сравнению: некто, заглянув в недоступную многим глубину, узрел там нечто, настолько перетрясшее его мозги и составы, что итогом этого стала новая оптика, как бы новый орган восприятия вещей. "Я словно ранен стрелой познания, отравленной ядом кураре: видящий всё" (KSA, 8, 506). Оглянувшись затем вокруг, он не мог уже застать ничего другого, кроме сплошных несоответствий виденному. Если исключить совершенно невыносимый в данном случае конформизм притворства, а равным образом и всяческую богемность как возможные и наиболее вероятные формы реагирования на диссонанс, то останется именно казус Ницше — "больше поле битвы, чем человек" (Письмо к П. Гасту от 25 июля 1882 г.). "Чтобы отнестись справедливо к этому сочинению, надо страдать от судьбы музыки, как от открытой раны" — придётся расширить судьбу музыки до судеб культуры, до планетарных судеб, чтобы получить пронзительный, как сирена, аварийный лейтмотив ницшевского "события". Почтеннейший Ричль едва ли способен был догадаться, какую чудовищную алхимию претерпит в этой душе профессиональная филологическая выучка: работа над источниками и эрудиция! "Мы не какие-нибудь мыслящие лягушки, не объективирующие и регистрирующие аппараты с холодно расставленными потрохами, — мы должны непрестанно рожать наши мысли из нашей боли и поматерински придавать им всё, что в нас есть: кровь, сердце, огонь, весёлость, страсть, муку, совесть, судьбу, рок" (KSA, 3, 349). Да и только ли Ричль; недоумения росли горой, лопааясь в годах разрывами отношений или формальной консервацией прежней дружбы; ещё раз: простить можно было что угодно, любую выходку распоясавшегося остроумия при условии, что ему, по

существо, нипочём *“Гекуба”*, та самая *“Гекуба”*, вокруг которой и разыгрывается маскарад свободомыслия. Станным образом оказалось, что этой мысли, обязанной, так сказать, ех professo заниматься *“Гекубой”* во исполнение научного долга, ни до чего другого нет дела и в самой жизни; профессионально прочитанный Сократ предстал даже не Prugelknabe Сократом, а злейшим личным врагом, с которым надо было непременно свести счёты, обнаруживая при этом не меньшую страсть и пылкость, чем этого мог потребовать чисто светский кодекс чести<sup>9</sup>. Интервал в двадцать пять столетий сплющивался до... вчерашнего дня; перед открытой кровоточащей раной бессмысленной выглядела любая *“давность сроков”*, и в свете лозунга *“Вся история, как лично пережитая, — результат личных страданий”* (KSA, 12, 400), возникала ситуация небывалого риска, меньше всего рассчитанная на адекватное восприятие и понимание, больше всего — на кривотолки и удобнейшую подозрительность, где отнюдь не худшим из подозрений смогла бы показаться аналогия с бессмертной выдумкой Сервантеса<sup>10</sup>. Проблема психопатологии у Ницше, породившая в своё время (и всё ещё продолжающая порождать) такое количество вздорно-сенсационной и — в меньшей степени — вдумчиво-осторожной литературы, начинается, если угодно, уже в этом пункте; нет никакой надобности сводить её к злоупотреблению *“хлоралом”* или — того хуже — к рассчитанной на бюргерский трепет леверкюновской мистико-физиологии, чтобы объяснить случившееся; если здесь позволительно говорить о патологии, то не иначе как с самого *начала* и не иначе как *имманентным самой мысли* образом. Приведённая выше фраза Ницше — подчеркнём это: уже сошедшего с ума — из письма к Якобу Буркхардту лучше, а главное, точнее разъясняет проблему, чем весь разгоревшийся вокруг неё литературский сырбор; да, он охотнее остался бы славным базельским профессором, нежели стал бы Богом — мы поверим ему на слово; весомость этого слова он оплатил юдолью всей своей жизни, — но случилось так, что *“профессор”* увидел нечто такое, чего не видели другие профессора, — скажем по-пушкински: *“одно виденье, непостижное уму”* — или скажем ещё словами того головокружительно-просветлённого объяснения между Заратустрой и жизнью: *“И я сказал ей нечто на ухо, прямо в её спутанные, жёлтые, безумные пряди волос. — “Ты знаешь это, о Заратустра? Этого никто не знает”*”, — если вписать это событие в неповторимую полноту контекста личности самого *“профессора”*, в знакомое ему с детских лет предчувствие особой судьбы, судьбы избранника, ещё раз — в знакомый ему с детских лет поразительный дар жить в возвышенном (*“Кто не живёт в возвышенном, как дома, — обронит он впоследствии, — тот воспринимает возвышенное, как нечто жуткое и фальшивое”*), в третий раз — в знакомую с детских лет атмосферу едва ли не инстинктивно усваиваемой правдивости и честности (мальчиком он услышал из уст одной из своих тёток: *“Мы, Ницше, презираем ложь”*)<sup>11</sup> и ещё во многое другое — *“ницшевское”*, — то сумасшествие, настигшее *“последнего ученика философа Диониса”* в Турине 3 января 1889 г., окажется самым устойчивым фактом всей его жизни, *“Ich bin immer am Abgrunde”* — всегда на краю пропасти... Дон-Кихот? Как вам будет угодно — но уберите отсюда трогательную sancta simplicitas, любого рода потешность и право каждой посредственности на снисходительное понимание; да, Дон-Кихот — но с неременной оглядкой на каждый свой шаг, но умница и беспощадный *“самопознаватель”*, палач самого себя (*“Selbstkenner! Selbsthenker!”* — будет сказано в *“Дионисовых дифирамбах”*), но только и занятый очищением авгиевых конюшен в себе и вне себя (*“Моё сильнейшее свойство — самопреодоление”* KSA 10,112), но способный в любое мгновение сбить с толку своего *“Сервантеса”*, который и понятия не имеет о том, куда ещё увлечёт его героя, — прибавьте сюда и то, что *“ветряные мельницы”* оказываются вдруг не мельницами вовсе, а самим злом, перемальвающим ум и совесть, и что нападающий на них *“сумасброд”* во всех отношениях знал, на что он посягает. “Европе понадобится открыть ещё одну Сибирь, чтобы сослать туда виновника этой затеи с переоценкой всех ценностей” (Письмо к Г. Брандесу от 13 сентября 1888 г.). *“Событие”* Фридриха

<sup>9</sup> (См. Второе дополнение)

<sup>10</sup> Характерная запись, относящаяся к осени 1872 г. *“Дон-Кихот”* — одна из вреднейших книг” (KSA, 8, 130)

<sup>11</sup> E. Foster-Nietzsche, Op. cit..1.Abt. Bd 2. S.73



Ницше — оп разглядел в идеализме и во всякой морали “мошенничество высшего порядка” (KSA 6,327). Исходной интуицией предстал феномен греческой культуры, досократической и уже сократической. Иначе, речь шла о самой жизни и целом сонме “прилганных” (hinzugelogen) к ней дрессировщиков и исправителей. Мудрость досократических греков выражалась в том, что, будучи ближе всех к оргиастическому источнику и избытку жизни, а стало быть, к хаосу и безумию (лик Диониса, кровавого бога бьющего через край экстаза), они противопоставляли ему, а точнее, сшибали с ним формообразующую пластику солнечных сил, световые стрелы Аполлона, дабы в самом средоточии единоборства обоих божеств сотворить себе некий артистический ковчег спасения; при этом о победе или поражении не могло быть и речи — человеческое существование временно оправдывалось *искусством*, как вооружённым нейтралитетом обоих божеств, больше того, оно подтверждало жизнь самим фактом её *художественной интенсификации*. В этом смысле феномен эллинского артистизма оказывался не божественной прихотью, а едва ли не физиологической потребностью, неким небывалым кунштюком торжества над жизнью не в ущерб ей, а в наивысшее подтверждение. Это трагическое мировоззрение впервые на греческой почве было разложено Сократом (и его драматическим alter ego — Еврипидом); с Сократа начинается неслыханная тирания разума и морали, вытеснившая жизнь в бессознательное и подменившая её инструкциями по эксплуатации жизни. Чем можно было победить жизнь, не стоя перед нею лицом к лицу, а в обход? Тем, что начали внушать человеку мораль и разумность любой ценой, стало быть даже ценою самой жизни, которая должна была отныне непременно проходить карантин моральной дезинфекции, дабы не выглядеть чем-то бессмысленным и ни на что не годным. Понятно, что при такой оптике нельзя было уже ограничиться одним Сократом; цепная реакция последствий сулила самую чудовищную растяжку тематического поля. Вопрос упирался в личные особенности “экзаменатора” и в его аппетиты по части радикализма; в конце концов можно было бы очутиться один на один со всей предыдущей — “за исключением пяти-шести моментов и меня, как седьмого” (KSA 6, 371) — историей. В период “Рождения трагедии” и даже ещё “Несвоевременных размышлений” такими моментами казались всё ещё Шопенгауэр и Вагнер; с этими союзниками он готов был к истреблению любых драконов. Тем невыносимее обернулось разочарование и первое испытание одиночеством; реальный Вагнер в самом скором времени стал диссонировать с желанным Вагнером — под маской нового Эсхила скрывался всего лишь заядлый театрал и неподражаемый дизайнер страсти, гениальный оболъститель и минотавр юношеских порывов; знаменитое туринское письмо 1888 года, которое ошеломит многих воинственностью разрыва, будет на деле подводить итоги более чем двенадцатилетней антивагнерианы. Тогда, к 1876 году, ситуация прояснялась довольно прозаично и, если употребить его позднюю оценку Дж. С. Милля, “оскорбительно ясно”; молодой мечтатель и романтик, несущий в груди “пятьдесят миров чужих восторгов” (KSA 6, 290), упустил из виду самый очевидный “пятьдесят первый мир”: оказалось, что новый Эсхил видит в своём беззаветно преданном друге отнюдь не только Зигфрида, но и едва ли не в первую очередь талантливый агитатор и пропагандист байрейтского гешефта; Петер Гаст приводит характерную реплику Вагнера, относящуюся к июню 1878 года: “Ах, знаете ли, Ницше читают лишь в той мере, в какой он принимает нашу сторону!”<sup>12</sup> Достаточно отметить, что уже выход в свет второго из “Несвоевременных размышлений”, не имеющего к вагнеровской стороне ни прямого, ни косвенного отношения, был встречен Вагнером с подчёркнутой холодностью, подчёркивающей что-то вроде недоумения хозяина в связи с самостоятельностью слуги. Книга “Человеческое, слишком человеческое”, ознаменовавшая de facto разрыв, любопытна, между прочим, как первая переоценка ценностей; Вагнер здесь уже только предлог к разрыву с самим собою, с теми “пятьюдесятью мирами”, которые оптом попали впросак при первом же столкновении с элементарной психологией отношений (“Мне не доставало знания людей”, — скажет он впоследствии KSA 11, 687). Нужно было кончать с романтикой в себе — безнадёжная задача, впрочем, самой безнадёжностью своей спровоцировавшая такое количество

---

<sup>12</sup> В предисловии к 1 тому «Человеческого, слишком человеческого» (Nietzsche. Werke.1.Abt.Bd 3. Leipzig, 1894. S.VI).

проницательнейшей прозы; придётся — коль скоро об этом уже была речь — вообразить себе Дон-Кихота, с необыкновенной остротой разоблачающего всякое донкихотство, или уже и вовсе разрушительное — Дон-Кихота, который, не переставая быть собою (ибо перестать быть собою выше его сил), становится воинствующим... позитивистом. Рикошет, скажем прямо, невозможный, но так или иначе несомненный для всего "второго периода" ницшевской мысли — от "Человеческого, слишком человеческого" до (включительно) первых четырёх книг "Весёлой науки". Ещё раз: разрыв с Вагнером ("ибо у меня не было никого, кроме Рихарда Вагнера" KSA 6, 431) открывал перспективу абсолютного одиночества; задача была ясна — великий поход на мораль и ценности прежней истории; но ясным представлялось и другое: такая задача могла бы оказаться по плечу не хрупкому романтику, захлёбывающемуся от чужих восторгов, а великому преступнику ранга Цезаря или Наполеона. Ситуация как бы буквально списана со страниц Достоевского (кстати, знакомого и любимого: "единственного психолога, у которого я мог кое-чему поучиться" KSA 6, 147); и этому немецкому Раскольникову сподобилось с оглядкой на Наполеона решать ребус собственной жизни: "*тварь дрожащая*" или "*сверхчеловек*"? Контраст, отмеченный решительно всеми свидетелями, — несоответствие между *образом* и *действительностью*. Барон фон Зейдлиц: "Я не знал ни одного — ни одного! — более аристократичного человека, чем он. Он мог быть беспощадным только с идеями, не с людьми — носителями идей"<sup>13</sup>. В биографии, написанной Э. Фёрстер-Ницше, сохранился эпизод об одной дурной выходке Вагнера в адрес своего молодого друга. "Что же сказал мой брат?" — спросила я робко. "Он не сказал ни слова, — ответил Вагнер, — он покраснел и удивлённо посмотрел на меня со скромным достоинством. Я дал бы сейчас сто тысяч марок, чтобы уметь вести себя, как этот Ницше"<sup>14</sup>. Вот обобщённый портрет, воссозданный со слов друзей: "У него была привычка тихо говорить, осторожная, задумчивая походка, спокойные черты лица и обращённые внутрь, глядящие вглубь, точно вдаль, глаза. Его легко было не заметить, так мало было выдающегося в его внешнем облике. В обычной жизни он отличался большой вежливостью, почти женской мягкостью, постоянной ровностью характера. Ему нравились изысканные манеры в обращении, и при первой встрече он поражал своей несколько деланной церемонностью"<sup>15</sup>.

"Святым" — il Santo — таким он казался даже случайным путевым знакомым и простым людям: "Что мне до сих пор особенно льстило, так это то, что старые торговки не успокаиваются, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда. Надо быть до такой степени философом..."<sup>16</sup> Сомнений быть не может: трудно вообразить себе случай, который был бы в большей степени чужд и противоположен породе "*смеющихся львов*" (Заратустра); в конце концов, что же есть ницшевский позитивизм во всём наборе его дальнейших выводов и модификаций, как не чистейший предрассудок романтика, наводящего на себя заведомую порчу в ребяческой надежде испортиться на самом деле! Отпрыск самых лакомых навыков и самоочевидностей традиционной морали, сошедший как бы прямо со страниц Адальберта Штифтера ("Бог ты мой, Ницше, — воскликнул однажды Эрвин Роде во время совместного чтения Штифтера, — как похожи на тебя эти юноши! Они ничем не отличаются от тебя; им недостаёт лишь гениальности!" "Винуват, — ответил с улыбкой Ницше, — этим молодцам недостаёт и головных болей!"<sup>17</sup>), он должен был вступить с нею в долгую и изнурительную борьбу, всякий раз побеждая её чудесами стиля и всякий раз проигрывая ей "*растущей пустыней*" жизни ("Die Wüste wächst: weh dem, der Wüsten birgt!"). Нужно было спешно осиливать технику переодевания, притворства, маски; альтернатива, заполнившая кризисный промежуток между уже написанным "Рождением трагедии" и ещё не написанным "Человеческим, слишком человеческим", давила мучительной определённой: либо раскрыть все карты и играть в открытую — да, я постиг сущность морали; она вся покоится на

<sup>13</sup> E. Foster-Nietzsche, Op. cit..2.Abt. Bd 2. S.832.

<sup>14</sup> Ibid., 1.Abt. Bd 2. S. 180

<sup>15</sup> А.Риль, Фридрих Ницше как художник и мыслитель. Спб., 1898. С.25.

<sup>16</sup> K. Heckel, Nietzsche. Sein Leben und seine Lehre. Leipzig, 1922. S. 168.

<sup>17</sup> E. Foster-Nietzsche, Op. cit..2.Abt. Bd 2. S.900.

лжи, ибо в основе её лежит что угодно, кроме собственно морального: тщеславие, гордыня, месть, жажда реванша, *ressentiment* стадного чувства, — но не судите о ней по мне самому, ибо я, Фридрих Ницше, емь величайшее исключение, никак не подтверждающее правила, — словами “Книги Мёртвых”: я не делал намеренно зла людям... я не говорил лжи пред судилищем правды... я не убивал... я не обманывал... я не оскорблял изображений Богов... я не прелюбодействовал... я не отнимал молока от уст младенцев... я не вынимал из гнёзд священных птиц... я чист! я чист! я чист! — и посему прошу верить мне и дать мне возможность оставаться... славным базельским профессором: преподавать греческий язык и литературу и в то же время проповедовать “сверхчеловека” и “вечное возвращение” — да, раскрыть все карты и содейть (разумеется, в рамках европейской режиссуры) некое подобие окаянного жеста Раскольникова, ставшего на колени среди площади и целующего землю “с наслаждением и счастьем”... Нелепейшее “либо”; что, впрочем, оно так или иначе предносилось сознанию Ницше, об этом свидетельствует множество прямых и косвенных намёков: “К морали Я. — Трудность добиться понимания... Каждый поступок толкуется превратно. Чтобы не быть постоянно распинаемым, следует запастись масками” (KSA 10,13) . — “Это было весной, и все деревья налились уже соком. Идя лесом и полный самых ребяческих мыслей, я машинально вырезывал себе из дерева свистульку. Но стоило мне поднести её к губам и засвистеть, как мне предстал бог, давно уже знакомый мне, и сказал: “Ну, крысолов, чем это ты тут занят? Ты, недоделанный иезуит и музыкант, — почти немец!” (Я подивился тому, что богу вздумалось польстить мне таким образом, и решил про себя быть с ним начеку.) “Я сделал всё, чтобы оглупить их, позволил им потеть в постели, дал им жрать клёцки, велел им пить до упаду, сделал их домоседами и учёными, внушил им жалкие чувства лакейской души...” — “По-моему, ты замыслил нечто более скверное! — вмешался я, — Уж не хочешь ли ты угробить человека!” — “Может быть! — ответил бог. — Но так, чтобы при этом он выгадал для себя нечто!” — “Что же?” — спросил я с любопытством. — “Кого же, следовало бы тебя спросить!” — так сказал Дионис и погрузился в молчание с присущей ему манерой искусителя. Видели бы вы его при этом! — Это было весной, и все деревья налились уже соком” (KSA 11, 482f).

Оставалось второе “либо”, притом что ничего более противоречивого, даже нелепого, и нельзя было придумать: разыгрывать максимум жизненности при висящем на волоске минимуме личной жизни; этот полуживой и одинокий страдалец, воспринимающий неизбывную физическую боль почти как привычную норму самочувствия, простёрся-таки громадным вопросительным знаком над всей трубящей восклицательностью своего учения, полагая, очевидно, что ему удастся скрыть за “семью шкурами одиночества” компрометирующий его лик мученика. Ближайшая маска — “позитивист” — оказалась недолговечной; надо было, грубо говоря, наработать мозоли для предстоящей большой работы — пройти некий спецкурс по самоочерствлению или отбыть воинскую повинность по части всего романтически надрывного и ранимого. Уже “Эккерман” (кстати, любимейшая книга) должен был дать автору “Рождения трагедии” недвусмысленные рекомендации на этот счёт. “То необычное, что создают выдающиеся таланты, — сказал Гёте, — предполагает весьма хрупкую организацию, позволяющую им испытывать редкие чувства и слышать небесные голоса. Такая организация, вступая в конфликт с миром и стихиями, оказывается легко ранимой, и тот, кто, подобно Вольтеру, не сочетает в себе большой чувствительности с незаурядной выносливостью, подвержен продолжительной болезненности” (20 декабря 1829 г.)<sup>18</sup>. Рекомендация, попавшая в точку: книга “Человеческое, слишком человеческое” вышла с вызывающим посвящением — “Памяти Вольтера”. “Книга для свободных умов” — в сущности обзаведение новой и вполне транзитной компанией: вместо Шопенгауэра и Вагнера — Ларошфуко, Лабрюйер, Фонтенель, Вольтер, Шамфор, испытанные пятновыводители по части всяческой романтики, героики, морального прекраснотушия. Когда урок будет усвоен и

---

<sup>18</sup> В поздней афористической аранжировке Ницше эта мысль прозвучит так: «Из военной школы жизни. Что не убивает меня, то делает меня сильнее» (KSA 6, 60)

окажется, что афористическая техника ученика не то что не уступает, но и явно превосходит образцы, этот сорт ментальности будет отброшен, как выжатый лимон; уже с четвёртой книги "Весёлой науки" — Sanctus Januarius — всё отчетливее станет вызвучиваться новая модуляция в некую неслыханную тональность ("о которой Ганс фон Бюлов сказал, что ничего подобного он ещё не видел на нотной бумаге, что это как бы насилие над Евтерпой". KSA 286f); во всяком случае, эффект выведения пятен и самоочищения, стало быть саморасширения и самоуглубления, позволит совсем ещё недавнему вагнерианцу и пылкому почитателю Адальберта Штифтера сказать о себе: "Теперь я, с большой долей вероятности, *самый независимый человек в Европе*" (Письмо к Ф. Овербеку от 30 апреля 1884 г.). Или ещё: "Во мне теперь остриё всего морального размышления и работы в Европе". И уже в тональности будущего "*стиля Прадо*": "Из всех европейцев, живущих и живших, — Платон, Вольтер, Гёте — я обладаю душой *самого широкого диапазона*. Это зависит от обстоятельств, связанных не столько со мной, сколько с "сущностью вещей", — я мог бы стать *Буддой* Европы, что, конечно, было бы антиподом индийского". Читателя, воспитанного на усреднённых представлениях о масштабе индивидуального и чересчур переоценивающего косметическую семантику скромности, эти заявления, пожалуй, смутят; но когда дело идёт об объявлении войны тысячелетним ценностям и о переоценке всех ценностей, было бы более чем странным, если бы *subjectum agens* этой переоценки представился скромным "*филологом*" или "*философом*", неким "*ufficiale tedesco*", согласно одной из последних туринских масок Ницше. Заметим: все кривотолки и недоразумения, связанные с именем Ницше, коренятся именно здесь; в сознании среднего (да и не только среднего) европейца он и по сей день пребует таким моральным пугалом, от которого впору уберечь юные души; ещё бы, когда едва ли не на каждой странице его последних (начиная с "Заратустры") сочинений можно обнаружить такое, отчего волосы встанут дыбом. Скажем прямо: не только злые перипетии судеб его наследия — о них ниже — содействовали этому, но и сам он, несравненный артист языка, находивший слова, "*разрывающие сердце Богу*", и — коварнейший парадокс! — почти никогда не находивший слов, смогших бы раз и навсегда пресечь лавину будущих кривотолков в связи с собственным добрым именем и глубочайшими интенциями своего учения. Нужно было — однажды и навсегда — отнестись к двум с половиной тысячелетиям европейской морали как к сугубо личной проблеме, т. е. воспринимать их с такой страстью и заинтересованностью, которая могла бы посоперничать с самыми яркими образцами эротической неисцелимости (недаром на страницах "Утренней зари" фигурирует опаснейший образ "Дон-Жуана познания"), нужно было во всех отношениях отказаться от личной жизни и стать завсегдаем духовной истории, неким обывателем платоновского "*умного места*", нужно было, таким образом, перевернуть норму жизни и годами навывлет жить в том, в чём по профессиональному обыкновению живут считанными часами, — стало быть, отождествить всю европейскую историю с личной биографией, чтобы всё прочее свершилось уже само по себе. Для этого прочего он нашёл удивительно ясную и однозначную формулу: "Я вобрал в себя дух Европы — теперь я хочу нанести контрудар" (KSA 9, 399). Тщетно было бы переизлагать философию Ницше на стандартный манер: реконструировать то, что в подобных случаях называется методом; метод Ницше равнозначен буквальной греческой семантике слова (метод есть путь) и, значит, самой жизни Ницше<sup>19</sup>. Если бы тем не менее пришлось — с учётом неизбежных потерь-воссоздавать "*объективную*" сторону дела (затея, почти адекватная пересказу шумановских "Фантастических пьес"), то общая схема выглядела бы приблизительно так. Духовное совершеннолетие человека сигнализируется неким кризисным переживанием в самом эпицентре его Я. Он осознаёт, что всё его формирование протекало до сих пор как бы без его личного ведома и участия; препорученный с ранних лет мощному традиционному аппарату навыков, норм и ценностей (воспитание, образование, мораль, религия, наука), он с какого-то момента начинает ощущать это опекунство как бремя и личную несвободу, пока наконец не проникается решительной тональностью противостояния. Его лейтмотив отныне — пиндаровское "*стань тем, кто ты есть*", пробуждение личной воли (и, значит, внутренней

<sup>19</sup> "Я всегда писал свои книги всем телом и жизнью: мне неизвестно, что такое чисто духовные проблемы" (KSA 9, 170)

свободы) сопровождается у него растущим умением говорить "нет" всему общеобязательному и общезначимому и уже постольку не-индивидуальному (der Neinsagenkonner Макса Шелера); в сущности речь идёт о некоем аналоге коперниканской парадигмы: Я, вращавшееся прежде вокруг объективного мира ценностей (моральных, религиозных, научных, каких угодно), отказывается впредь быть периферией этого центра и хочет само стать центром, самолично определяющим себе меру и качество собственной ценностной галактики. Невероятность феномена Ницше в том, что он едва ли не первым из европейцев, так или иначе одержимых этой проблемой (тип ренессансного "виртуоза", per la grazia di Dio uomo libero в формулировке Пьетро Аретино; из ближайших предшественников — Макс Штирнер), довёл её до невысказанно радикальных глубин и последствий, до — в буквальном смысле — сумасшествия, которое и стало ужасающим критерием истины этого ума: "лев", свирепо растерзывающий и растаптывающий всякую общеобязательность (от традиционно понятого "Бога" до, скажем, сочинений Герберта Спенсера) в надежде стяжать себе третье, и окончательное, превращение в "дитя", просто впал в детство, что означало: Я не только не сотворило себе новые орбитальные миры, но и сорвалось с прежней орбиты. Ещё раз: степень погружения в проблему превзошла меру личной выносливости; специфика ницшевского "контрудара" определялась почти исключительной имманентностью театра военных действий: "кто нападает на своё время, — обронил он однажды, — тот может нападать лишь на себя"<sup>20</sup> (KSA 8, 500). Разрушение традиционных ценностей — и здесь дан нам, пожалуй, первый ключ к адекватному прочтению — оборачивалось сплошным саморазрушением; эксперимент, к неизменным условиям которого принадлежал фактор самоидентификации; говоря грубо и уже как бы под диктовку самого языка, он был тем, что он бил — от юношеского Сократа<sup>21</sup> до знакомого нам "Бога", пожертвовавшего "профессурой". Следовало бы ещё и ещё раз подчеркнуть это обстоятельство, чтобы раз и навсегда избавиться от вульгарного псевдо-Ницше, как от интеллектуального комикса, состряпанного псевдо-праведниками всех стран. Говорят: Ницше — это "толкни слабого" и, значит: ату его! Звучит почти как инструкция для вышибал, за вычетом естественного и радикально меняющего суть дела вопроса: о каком это "слабом" идёт здесь речь? Вот одно — чёрным по белому — из множества решающих мест: афоризм 225 "По ту сторону добра и зла": "Воспитание страдания, великого страдания — разве вы не знаете, что только это воспитание во всём возвышало до сих пор человека?.. В человеке *тварь* и *творец* соединены воедино: в человеке есть материал, обломок, избыток, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть и творец, ваятель, твёрдость молота, божественный зритель и седьмой день — понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что *ваше* сострадание относится к "твари в человеке", к тому, что должно быть сформовано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, — к тому, что *страдает* по необходимости и *должно* страдать? А *наше* сострадание — разве вы не понимаете, к кому относится наше *обратное* сострадание, когда оно защищается от вашего страдания, как от самой худшей изнеженности и слабости?" Будем по крайней мере помнить, что философия Фридриха Ницше — это уникальный и всей жизнью осуществлённый эксперимент саморазрушения "твари" в человеке для самосозидания в нём "творца", названного "сверхчеловеком". Нужно было выпутываться из тягчайшей антиномии: мораль или свобода, предположив, что традиционная мораль, извне предписывающая человеку целую систему запретов и декретов, могла опираться только на презумпцию несвободы. Выбор был сделан в пользу свободы — скажем так: свободы от морали, но и свободы для морали, где мораль изживалась бы уже не командными методами общезначимых императивов, а как *моральная фантазия* свободного индивидуума. Этого последнего шага не сделал Ницше, но

---

<sup>20</sup> Рудольф Штейнер в статье «Личность Фридриха Ницше и психопатология» объясняет эту специфику раздвоением самосознания: "Он почти никогда не достигает своими суждениями действительного противника. Сначала он на самый диковинный лад измышляет себе желанный объект нападения и затем борется с химерой, далеко отстоящей от действительности. Понять это можно, лишь приняв во внимание, что он в сущности никогда не борется с каким-либо внешним врагом, но всегда с самим собою" (R.Stainer, Friedrich Nietzsche. Ein Kämpfer gegen seine Zeit. Dornach, 1977, S.162.).

<sup>21</sup> Заметка 1875 г.: "Сократ, я должен в этом признаться, так близок мне, что я почти всегда борюсь с ним" (KSA 8, 97)

всё, что он сделал, и не могло уже быть ничем иным, как подведением к этому шагу. *“Мы должны освободиться от морали...”* — вот что было в нём услышано, и вот что не услышано — продолжение: *“...чтобы суметь морально жить”* (KSA 10, 359). Открыть самого себя — и этот миф доподлинно разыгрывал структуру всякого мифа: шагать приходилось по *“трупам”*. *“Вас назовут истребителями морали, но вы лишь открыватели самих себя”* (KSA 10, 212). Эксперимент — отметим это ещё раз — катастрофически сорвавшийся, но — что гораздо важнее — всё-таки случившийся.

### 3. Лабиринт. Ариадна. Распять

“Лабиринтный человек никогда не ищет истины, но всегда лишь Ариадну, — что бы ни говорил нам об этом он сам” (KSA 10, 125). Много спорили о ницшевском стиле, афористической манере его письма. Объясняли эту манеру его неспособностью к систематическому мышлению, даже состоянием его здоровья (он-де мог работать урывками, в промежутках между приступами боли). Позволительно отдать предпочтение иному, и положительному, объяснению, тем более что именно в стиле Ницше должен, по всей очевидности, скрываться шифр к тайнику его необыкновенно запутанной судьбы. Преодоление человека отчётливее всего запечатлено в преодолении языка; случай Ницше — *“стиль — это сверхчеловек”*; ничто не маскирует и в то же время ничто не выдаёт этого *“посмертника”* (der posthume Mensch) лучше, чем причуды и прихоти его письма. Прежде всего афоризм. Оставим в покое всякую систематику; в этом случае о ней не могло быть и речи. Афоризм рождался не из ущерба, а из избытка; небывалость ницшевского опыта, ницшевской оптики воплощалась в этот жанр как в единственно соразмерную ей форму выражения. Что есть афоризм? Скажем так: отнюдь не логика, а скорее некая палеонтология мысли, где по одному оскалившемуся “зубу” приходится на собственный страх и риск воссоздавать неведомое и, судя по всему, довольно опасное целое — *“заводить знакомство с господином Минотавром”* (KSA 13, 602). Можно сказать и так: некая неожиданная инсценировка мысли на тему схоластических quod libet, подчиняющаяся, поверх логических норм и запретов, неписаным канонам какой-то диковинной хореографии; афористическая мысль относится к систематизированной мысли, как векториальная геометрия к метрической геометрии, как кочевник к домоседу, прыжок канатоходца к правилам уличного движения, мужицкая дубинка к закованному в латы рыцарю, лукавое подмигивание к всесторонне взвешенному доводу, лабиринт к стрелке с надписью “выход”. Дразнящий минимум слов при максимуме не на шутку встревоженных *“невыразимостей”*, всегда неожиданно распахнутая дверь и вскрик застигнутой врасплох проблемы, некая *“критика чистого разума”* (и вообще всего *“чистого”*) средствами... полицейского романа, короче, всегда и везде то самое игольное ушко, через которое, как сказано, легче пройти верблюду, нежели иному из *“специалистов”*, — всё это, вне всякого сомнения, создаёт ситуацию непрерывного подвоха и провокации, некое *“ridendo dicere severum”*, где, употребляя формулу аббата Галиани, этого испытанного конфиденанта Ницше по части цинического, *“можно говорить всё в стране, где нельзя говорить ничего, не попадая в Бастилию”*<sup>22</sup>. Афоризм, понятый так, оказывается не просто литературным жанром Ницше, но и как бы параболой всей его жизни, которая и сама — посмертно — выглядит неким незавершенным фрагментом из наследия; во всяком случае впечатление таково, что жизнь эта уже во внешних своих характеристиках строилась по образцу хорошего афоризма: Ницше-отшельник-скиталец-безродный-инкогнито — что же это, как не живой оригинал и *“натура”* срисованных с себя книжных копий, некий генерал-бас всех нафантазированных им сочинений, в сущности музыкант, который случайно набрёл на словесность и так никогда и не заметил этой своей напасти, подарившей немецкой и мировой прозе небывалые вибрации выразительности. “Я должен научиться играть на своём стиле, как на клавиатуре, но играть не заученные пьесы, а свободные фантазии, свободные в максимальной степени и тем не менее всегда логичные и

<sup>22</sup> Correspondance inedite de l'abbe Galiani. T.2. Paris, 1818. P. 302.

основательные” (Письмо к К. фон Герсдорфу от 6 апреля 1867 г.)<sup>23</sup>. Лучше и не скажешь об афоризме; предстояли долгие скитания по лабиринту тысячелетий, и экипировка должна была отвечать характеру путешествия. Сама дискретность и многоактность текстов имитировала причудливую контрапунктистику лабиринта, оказываясь неким искривлённым смысловым пространством с бесконечно разветвляющимися коридорами и зеркальными комнатами; афоризм позволял мгновенные переключения и притворства любого рода в зависимости от непредсказуемых подвохов лабиринта; надо было уметь не только сохранять мужество, но и перевоплощаться по случаю в кого угодно, стало быть, располагать целым реквизитом масок, “чтобы не быть разорванным на куски каким-нибудь Минотавром совести”(KSA 5, 48). Здесь, пожалуй, и следовало бы искать разгадку ницшевской противоречивости — самой неприкрытой, самой бесцеремонной и вызывающей противоречивости, какую только знала история европейской духовности. Все таксономические определения, вся табель о рангах философского и вообще культурного порядка списана здесь в театральные реквизиты масок; лабиринтный человек — сплошная ходячая провокация и самопровокация, каждый второй шаг которой может быть высочайшим языком каждому первому шагу; он не выдержал бы и мгновения, доведись ему “зажить” в какой-нибудь одной маске; оттого он меняет их, выжав из них предварительно максимальную выгоду; оттого он может в смежные доли мгновения слышать небесные голоса и браниться, как чёрт, потешаясь над тем, что только что исторгало слёзы; оттого ему приходится при случае зашибить “Вольтером” какого-нибудь “Леопарди” и прослыть “вольтерьянцем”, который через страницу оказывается способным на такую нестерпимо молитвенную тишину, что от “вольтерьянства” не остаётся и следа<sup>24</sup>. Короче, здесь можно встретить самые необыкновенные скрещивания и комбинации — настоящее “искусство трансфигурации”, которое в предисловии к “Весёлой науке” и отождествляется собственно с философией: скажем, Гёте, заражённый Гёльдерлином, или Фридрих Альберт Ланге, автор “Истории материализма”, неожиданно соседствующий с изумительными росчерками чисто новалисовской фантазии. Совершенно уникальные неожиданности по этой части ожидают читателя в “Весёлой науке”, этой, может быть, самой моцартовской книге в мире, написанной “на языке весеннего ветра”, без всякого сомнения, и на “птичьем языке”, — книге, редчайшим образом сочетающей в себе глубоко народную, местами даже мужицкую соль с истончённой *delicatelyzza* едва уловимых намёков и дуновений, как если бы именно на свирельном фоне пейзажей Клода Лоррена пришлось загулять вольтинке брейгелевских свадеб<sup>25</sup>. Философу, воспитанному в строгих традициях теоретико-познавательной дисциплины, и в самом дурном сне не приснилось бы, что можно употребить в познание — дурачества и гримасничанье, стало быть, дурачась и гримасничая, — познавать, и причём познавать ту именно микрофизику проблем, которая, как оказалось, и не могла быть познана иначе. Надо представить себе ни больше ни меньше как моцартовского баловня, птичьего кавалера Папагено (в инсценировках “Весёлой науки” он частый затейник), интервьюируемого по части “морального”... Необычна уже сама увертюра к книге: “Шутка, хитрость и месть” — мастерский зингшпиль в 63 крохотных актах, настоящий шедевр дидактических капризов и притворствующих “моралите”, окунающий саму мораль в посвистывающую уленшпигелевскую стихию немецкого языка и демонстрирующий скандальное — на этот раз — рождение пародии из духа музыки. Характерная и более чем психологическая параллель: Моцарт, пишущий Папагено уже на смертном одре и даже напевающий его в бреду; слушаем же теперь, как рождался этот Папагено: “Непрекращающаяся боль; многочасовые приступы дурноты, схожие с морской

---

<sup>23</sup> Прекрасная подборка соответствующих мест у Э.Бертрама: E.Bertram, Nietzsche. Versuch einer Mythologie. 9. Aufl. Bonn, 1985, S. 111-134.

<sup>24</sup> Черта, зорко подмеченная в своё время Андреем Белым: «Он неоднократно принимается возражать Дарвину и тем не менее пользуется Дарвиным, но пользуется, как случайно подобранной на пути хворостинкой, чтобы нанести удар, отшвырнув, обтерев при этом руки... Всё для него, где нужно, - средство, чтобы сбить с ног. Здесь устроить католическую засаду из Боклей, Миллей, Дарвинов; там пустить под ноги почтенным ученым иезуита» (А.Белый, Арабески. М., 911, С.68).

<sup>25</sup> (См. Третье дополнение)

болезнью; полупаралич, во время которого у меня отнимается язык, и для разнообразия жесточайшие припадки, сопровождаемые рвотой (в последний раз она продолжалась три дня и три ночи, я жаждал смерти)” (Письмо к Отто Эйзеру в январе 1880 г.). Это уже нечто совсем закулисное и неинсценируемое — так окупаемая *весёлость*: некий род адской расплаты за “искусственный рай” сверхчеловечности — расплаты, которая, впрочем, всякий раз оборачивается неожиданной провокацией к новой книге: “говоря притчей, я посылаю горшок с вареньем, чтобы отделаться от кислой истории...” (KSA 6, 271).

Лабиринтный человек всегда ищет Ариадну. Философия Ницше, самосведённая к своим первоначальным данностям, есть, в сущности, концентрированный поиск *стиля* — языка, отвечавшего бы онтологии личных превращений и переодеваний; там, где самопервейшей и последней данностью выступает глубокое *анонимное* страдание, страдание, обернувшееся *лабиринтом*, — единственной и едва ли уже не инстинктивной ставкой на какую-то компенсацию остаётся *большой стиль*, или ритуал самоуподобления “индейцу, который, как бы жестоко его ни истязали, вознаграждает себя по отношению к своему истязателю злобой своего языка”(KSA 3, 350). Как *vademecum* лабиринта, стиль и есть *Ариадна* — наиболее загадочный и интимный символ ницшевской мифологии (“Кто, кроме меня, знает, что такое *Ариадна!*...” KSA 6, 348 ), наиболее, добавим мы, противоречивый, ненадёжный и абсурдно-увлекательный символ (“Мой старый учитель Ричль утверждал даже, что свои филологические исследования я конципирую, как парижский *romancier* — абсурдно увлекательно” KSA 6, 301). Ситуация действительно воспроизводит классические интриги жанра новеллистики: подумаем о том, что самым невинным и безвредным персонажем этого лабиринта довелось стать... Минотавру, который и вообще играет здесь роль мнимого пугала, назначенного отвлечь внимание героя от реальной опасности. Куда увлекает Ариадна своего Тесея (“*рогоносца*”, вынужденного делить её с самим Дионисом)? Если она и выводит его из одного лабиринта, то не иначе как вводя в другой, более запутанный лабиринт. “Тесей становится абсурдным, — сказала Ариадна, — Тесей становится добродетельным!”... “Ариадна, — сказал Дионис. — Ты лабиринт. Тесей заблудился в Тебе, у него уже нет никакой нити; какой ему нынче прок в том, чтобы не быть пожранным Минотавром? То, что пожирает его, хуже Минотавра”. “Ты льстишь мне, — ответила Ариадна, — но, если я люблю, я не хочу сострадать; мне опостылело моё сострадание: во мне гибель всех героев. Это и есть моя последняя любовь к Тесею: я уничтожаю его” (KSA 12, 402). Стилистический плюрализм Ницше, с помощью которого он рассчитывал чувствовать себя в лабиринте “*рогатых проблем*” как дома и оградить Я от назойливых прикосновений, оказывался настоящим маскарадом стилей, или личин (в собственном смысле “*персон*”), постепенно вытесняющих само Я и грозящих срывом режиссуры. “Задача: *видеть вещи, как они есть!* Средство: смотреть на них сотней глаз, из *многих* лиц” (KSA 9, 466); многоличие, имитирующее лабиринт в надежде преодолеть его таким образом, на деле лишь *удваивало* лабиринт, дважды запутывая Я — проблематически и стилистически; с какого-то момента (разумеется так называемый “*третий*” Ницше) стиль начинает приобретать самостоятельность и автономность, так что вконец заблудившегося в нём Тесея пожирает уже не Минотавр, а сама Ариадна. В истории болезни ейнской психолечебницы это будет зафиксировано прямым текстом: “Моя жена Козима Вагнер (кодовое имя Ариадны – К.С.) поместила меня сюда”. - “Ах, друг, временами меня охватывает предчувствие, что я живу в высшей степени опасной жизнью, ибо я принадлежу к машинам, которые могут *разлететься на куски*” (Письмо к П. Гасту от 14 августа 1881 г., Вр., 6,112). Машина — машина *стиля*, однажды заведённого и действующего уже вполне машинально, во всяком случае обнаруживающего опасную тенденцию опережения сознания и как бы уже пренебрежения сознанием. Ситуация, крайне типичная для “*позднего*” Ницше: глядя на мир из многих лиц, не видеть собственного лица. Когда он, скажем, ругает христианский “*монотонотеизм*” и изощряется в кегельбанно-атеистическом остроумии, зашибая насмерть пустых истуканов, когда он возвещает “*смерть Бога*” и “*восхождение нигилизма*”, только топорный и крайне немзыкальный слух не услышит здесь полифонии смыслового бумеранга, как бы некой



семантики с *двойным дном*, где само отрицание неожиданно совращает к новому и небывалому приятию — одной случайно оброненной реплики вроде: “Что отрицал Христос? — Всё, что сегодня называется христианским” (KSA 13, 517)— окажется вполне достаточно, чтобы разгадать *тональность* ситуации<sup>26</sup>. Опасность коренится в другом: в том, что можно было бы назвать *невменяемостью* *стиля*, когда машина набирает скорость и становится уже *не управляемой*. Во “Фрагментах к Дионисовым дифирамбам” это состояние запечатлено в уникальном образе: “Один волк даже выступил свидетелем в мою пользу и сказал: “Ты воешь лучше, чем мы, волки” (KSA 13, 567). “*Вой*” должен означать здесь буквально — *нелепость*: приступы спорадического помрачения, предвещающие окончательный провал. Когда Ницше бранит историческое христианство, когда в спазматическом пароксизме страсти он тщится примерить даже маску Антихриста, смысловая деформация текстов не выглядит ещё столь необратимой, чтобы нельзя было рассчитывать на возможность обратной дешифровки; скажем так: несмотря на разъедающие языковые эрозии, смысловая ткань написанного обнаруживает всё ещё элементы эластичности, нейтрализующие действие написанного герменевтическим противодействием “всего того, что не может быть написано”<sup>27</sup>. Иначе обстоит дело, когда, увлечённый нападками, он действительно переходит грань: тягостны и невменяемы страницы, где бесноватый принц Фогельфрай “*воет*” на самое родное и сокровенное в себе, скажем, на Павла, который оказывается здесь “*апостолом мести*” и “*наглым раввином*”, хотя в Павле за девятнадцать столетий до Ницше предвосхищено (и преодолено) едва ли не всё ницшеанство в наиболее рискованных пунктах вольнодумства и бунта, включая и буквальное воспроизведение лозунга: “*Alles ist erlaubt*” — “*Всё позволено*”<sup>28</sup>. Чаемое равновесие двух божеств — ночного и послеполуденного — непоправимо нарушено здесь в пользу ночи; задача — поверх всех гиперболических модуляций и уже во всех смыслах — исчерпывалась как бы примирением *Гёте* и *Гёльдерлина*, ибо от какой ещё открытой раны (за вычетом музыки) мог этот “*несвоевременец*” страдать глубже, чем от непостижимой глухоты Гёте (любимейшего) к Гёльдерлину (любимейшему), и чем могло бы утолиться это чудовищное честолюбие, как не развитием в себе Гёте (который — это будет сказано им со всей определённоностью — “*не понимал греков*”(KSA 6, 159), добавим: *гёльдерлиновых греков*) до восторга перед автором “*Мнемосины*”; итог оказывался обратным: чаемый синтез обоих божеств транспарировал псевдоэстетическим подвохом “*белокурой бестии*”, “*бессмертно здорового*” — e tutto festo — Чезаре Борджа.

В метаморфозах Ариадны — стиль как путеводная нить в лабиринте проблем, стиль как лабиринт, — кульминационным предстаёт третье превращение, или *утроение* лабиринта. Поглотив Тесея и став сама лабиринтом, она впервые испытала вождеющую тоску по... лабиринту; если позволительно воссоздавать биографию Ницше как своего рода *биомиф* (в русле уникальной попытки Эрнста Бертрама, но в ином композиционном ряде), то эта символика окажется основополагающей для всей его жизни. Ранний Ницше — герой в лабиринте с путеводной нитью *стиля* — и поздний Ницше — герой, преданный *стилем*, и уже сплошной лабиринт *стиля* без героя: поистине, “ещё несколько шагов... и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу” (KSA 6,

<sup>26</sup> Аксиома, обязательная для всех читателей Ницше: «Наиболее вразумительным в языке является не само слово, а тон, сила, модуляция, темп, с которыми проговаривается ряд слов, — короче, музыка за словами, страсть за этой музыкой, личность за этой страстью: стало быть, всё то, что не может быть написано” (KSA 10, 89). И еще одно личное признание: «Многие слова пропитались у меня иными солями и имеют для моего языка иной вкус, чем для моих читателей» (Г.Брандесу от 02.12.1887 г./ Br., 8.206).

<sup>27</sup> Такова глубокая эксегеза Христиана Моргенштерна, в котором Antichrist Ницше был прочитан как Ante-Christ – ante Christum natum.

<sup>28</sup> Ср.: «Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною (1 Коринф. 6,12; см. также 10,23) Вот случайная подборка параллелей — слишком ницшеанских, чтобы быть замеченными автором «Антихриста»: «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1 Коринф. 5,8); «Будем петь духом, будем петь и умом» (1 Коринф. 14, 15); «Братия! Не будем дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» (1 Коринф. 14,20); «с оружием правды в правой и левой руке» (2 Коринф 6,7); «Мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем» (2 Коринф. 6,9); «К свободе призваны вы, братия!» (Гал. 5,13).

272). Стиль без героя — мы знаем — машина, готовая разлететься на куски; “я не понимаю, — так означено это в одном из последних писем, — зачем мне было так ускорять *трагическую катастрофу* моей жизни, которая началась с Ессе” (Письмо к П. Гасту от 16 декабря 1888 г., Вг., 8, 528). Это недоумение рассеивается одной поправкой; речь идёт не о Я, а о вышедшем из-под контроля и предоставленном самому себе *совершенном языке* (“До меня не знали, что можно сделать из немецкого языка, что можно сделать из языка вообще” KSA 6, 304), настолько совершенном, что уже как бы и не нуждающемся в “авторе”, разве что в “*стенографе*”... Вот какой предстает онтология этого языка в одном отрывке из наследия, озаглавленном: “*Совершенная книга*” (приводится в отрывках): “*Совершенная книга. Иметь в виду: 1. Форма, стиль. — Идеальный монолог... Никакого Я... Как бы беседа духов; вызов, бравада, заклинание мёртвых... Избегать... всех слов, смогших бы навести на мысль о некоем самоинценировании... 2. Коллекция выразительных слов. Предпочтение отдавать словам военным. Эрзац-слова для философских терминов: по возможности немецкие и отчеканенные в формулу... 3. Построить всё произведение с расчётом на катастрофу*” (KSA 12, 400f). В дифирамбе “Плач Ариадны” запечатлена последняя трагическая трансфигурация стиля (будем читать: жизни) Ницше: функция лабиринта переходит от Ариадны к самому Дионису (“Ich bin dein Labyrinth”), странному богу, требующему от своего единственного ученика уже не книг, а каких-то обрядовых жестов мысли, уже не коллекции выразительных слов, а только танца. Этому атеисту пришлось-таки заречься: “Я поверил бы лишь в такого Бога, который мог бы танцевать” (KSA 10, 69); но, должно быть, танец, предложенный богом-танцмейстером, оказывался уже не под силу надорванному во всех — земных и небесных — смыслах “сверхчеловеку”: “Вы не научились ещё у меня, как танцевать насмешку” (KSA 10, 123), и притом “на высоте 6000 футов над уровнем человека”.

Финал — ритуальное принесение себя в жертву танцующему богу — разыгрывался уже в строгом соответствии с поэтикой катастрофы. Утроенный лабиринт раздавался жесточайшим переутомлением и набегам прострации. Нет более странного зрелища, чем последний метаморфоз лабиринтного человека, перестающего вдруг искать Ариадну и жаждущего... почти яснополянской простоты и бесхитростности. “Формула моего счастья, — он повторит это дважды: в “Сумерках идолов” и в “Антихристе”, — Да, Нет, прямая линия, цель...” И ещё один выпад — против предательского стиля: если бы мы не знали, что это говорит о себе Фридрих Ницше, нам, со всей достоверностью, показалось бы, что это говорит о нём... Лев Толстой: “Я только пустослов: а что в словах! что во мне!” (KSA 13, 575) И уже как бы в преодолении пустословия — деловой жаргон визионера: “Клянусь Вам, что через два года земля будет содрогаться в конвульсиях” (Письмо к Г. Брандесу от 20 ноября 1888 г.). “Я достаточно силён для того, чтобы расколоть историю человечества на два куска” (Письмо к А. Стриндбергу от 7 декабря 1888 г.)<sup>29</sup>. Последний симптом: внезапная демаскировка Я, переутомлённого масками и требующего наконец прямой собственной речи, — невыносимое fortissimo самозванств, настоящее насилие над Евтерпой: *я ученик философа Диониса; я северный ветер для спелых плодов; я всегда выше случая; я так умён; я пишу такие хорошие книги; я впервые открыл трагическое; я первый имморалист; я изобретатель дифирамба; я слишком новый, слишком богатый, слишком страстный; я обещаю трагический век; я хожу среди людей, как среди обломков будущего; у меня впервые в руках масштаб для истин; я впервые могу решать; только с меня начинаются снова надежды; я знаю свой жребий; моя истина ужасна; я первый открыл истину; я тот, кому приносят клятвы; я всемирно-историческое чудовище; я анти-осёл; я рок; я не человек, я динамит, — и уже почти машинально модулируя в тональность “паралича” и “комбинированного психоза” — среда индусов я был Буддой, в Греции — Дионисом; Александр и Цезарь — мои инкарнации, также и поэт Шекспира — лорд Бэкон; я был напоследок ещё и Вольтером и Наполеоном, возможно, и Рихардом Вагнером... Я к тому же висел на кресте; я Прадо; я также отец Прадо;*

<sup>29</sup> По-видимому, Стриндберг оказался единственным, кто в полной мере поспешил за темпом этой катастрофы: его ответом на неё были почтовые открытки, рассылаемые им по всемирному миру: “Carthago est delenda, читайте Ницше” (K. Strecker, Nietzsche und Strindberg. Mit ihren Briefweehsel. Munchtn, 1921).

рискну сказать, что я также Лессепс... и Шамбиж; я каждое имя в истории<sup>30</sup>... Это — настоящее заговаривание лабиринта, исступлённый шедевр чисто эгографического экзорцизма, как бы бессознательно испещряющего стены лабиринта (уже усыпальницы) магическими речениями “Книги Мёртвых”, — последний подвох самосознания, отданного на заклятие темпу: “Мой девиз: у меня нет времени для себя — вперёд!” Тут только и забрезжил выход из лабиринта, и выходом этим оказалась... *Голгофа*. “Другу Георгу! После того как ты открыл меня, невелико было искусство найти меня: трудность теперь заключается в том, чтобы потерять меня. Подпись: Распятый (Der Gekreuzigte)” (Письмо к Г. Брандесу от 4 января 1889 г., Вг., 8, 573). Или ещё: “Моему маэстро Пьетро. Спой мне новую песнь: мир просветлён, и небеса ликуют. Подпись: Распятый” (Письмо к П. Гасту от 4 января 1889 г., Вг., 8, 575). Не будем соблазняться: Распятый могло бы означать здесь — распятый *разбойник* (“Прадо”): в сущности, прикинувшийся разбойником музыкант, посягнувший решительно на всё абсолютное, кроме собственного абсолютного слуха, и смогший, вопреки себе, расслышать Голос, к которому остались благополучно глухи века традиционной морали и профессорской философии.

#### 4. Посмертные судьбы

“В неопикуемой странности и рискованности моих мыслей лежит причина того, что лишь по истечении долгого срока — и наверняка не ранее 1901 года — мысли эти начнут доходить вообще до ушей” (Письмо к М. фон Мейзенбуг от 12 мая 1887 г., Вг., 8, 70). Удивительно, что этому одинокому “охотнику до загадок”, испившему до дна чашу непризнанности и вынужденному, несмотря на крайнюю бедственность, печатать за свой счёт жалкие тиражи собственных сочинений, так и не пришлось хоть однажды усомниться в аере *perennius* каждой написанной им строки. Пророчество оказалось необыкновенно точным: столетие открывалось оглушительным взрывом нищемании, словно бы те на последнем дыхании выкрикнутые слова: “я не человек, я динамит” — были не эйфорическим саморазоблачением с-ума-сходящего, а самой действительностью, к тому же весьма скромно засвидетельствованной, — какой ещё динамит, когда говорить следовало бы о несуществующем ядерном арсенале! Злая насмешка судьбы: самому аристократичному из мыслителей, индивидуалисту, поддерживающему свою жизнь строжайшей диетой одиночества и презирающему даже театр, в котором “*господствует сосед*” (KSA 6, 420), довелось посмертно побить наиболее внушительные рекорды по части массового эффекта и стать едва ли не самым всеядным властителем дум начинающегося столетия. Стоит ли и говорить о том, каким невыносимым диссонансом въелась эта всеядность в весь строй ницшевского менталитета; извращение и порча смыслов определялись здесь не столько качеством различения, сколько чисто количественным фактором его, — генезис европейского (и после уже и мирового) нищеанства выглядит скорее всего прискорбной шумихой вокруг некоего аукциона, торгующего духовными “*мощами*” покойного философа и при активном участии самой разношёрстной публики: от университетских профессоров до бойких газетчиков, от новаторов стиля и мировоззрения до начитанных сплетников и сплетниц, от длинноволосой богемы кружков и журфиксов до горьковских босяков. “*Стань тем, кто ты есть*” — какой чудовищной пародией обернулось это тайное взыскание одинокого скитальца в ближайшей инсценировке его посмертных судеб, разыгрывающих как раз обратную картину, словно бы именно ему, гению всяческих провокаций и почётному гражданину Лабиринта, суждено было наклепать на себя эту безвкусную и во всех смыслах жалкую провокацию распоясавшегося нищеанства и многолично стать тем именно, чем он никогда не был, да и не мог ни при каких обстоятельствах быть. В таком горько карикатурном исполнении сбывался подзаголовок, поставленный им к книге о Заратустре: “*Книга для всех и ни для кого*”, — сбывалась, точнее сказать, одна лишь первая часть его — “*для всех*” — при кричащем и разрушительном отсутствии “*ни для кого*”, только и способном

---

<sup>30</sup> Прадо и Шамбиж – преступники, герои сенсационных процессов 1888 года, вызвавших живейший интерес Ницше, Лессенс, строитель Суэцкого канала, был замешан в большом скандале.

уравновесить и осмыслить невыносимую эмпирику буквально понятых “всех”. “Книга для всех” за вычетом “никого” — трудно, пожалуй, сыскать более ёмкую и точную формулу, смогшую бы вместить весь печальной памяти феномен ницшеанства, или Сочинений Ницше за вычетом самого Ницше, и это значит: слов за вычетом музыки, музыки за вычетом страсти, страсти за вычетом страждущего, короче, только слов, мёртвых слов, которым он подобрал непереводаемый, гольбейновской силы гравюрный штрих: “Ein klapperdures Kling-Kling-Kling” — что-то вроде бряцающего костями скелета. Скелет оказался на редкость популярным и общедоступным; можно было бы разложить его в однозначном ряде аксиом, одинаково звучащих для уха какого-нибудь изнеженного декадента и какого-нибудь бравого унтер-офицера: сильные должны повелевать, слабые — подчиняться, и ещё: жизнь есть воля к власти, и ещё: мораль есть мораль слабых, мстящих таким образом жизни полнейшей дискредитацией её естественных прав, или еще: нет ничего истинного, всё позволено. Ницше, подменённый “цитатником Ницше”, врывался в новое столетие лязгом и бряцанием таких вот цитатных костей, невыносимой барабанной дробью, возвещающей Пришествие Варвара, той самой “белокурой бестией”, от которой, как от контрастной довески к стилю бидермейер, вдруг восторженно обомлели сидящие на викторианской диете культурные обыватели Европы. Больше того, не без комедийных попыток самоидентификации с названной “бестией” — ситуация, метко запечатлённая Рикардой Хух в словах: “Многие прикидывались белокурами бестиями, хотя бестиальности в них не хватало и на одну морскую свинку”. Механизм канонизации срабатывал с почти автоматической безупречностью, так что совсем ещё недавнему идолоборцу, обогатившему инвентарь философских аргументов невероятным вполне “аргументом от молотка”, довелось занять едва ли не самое почётное место в идолатриуме эпохи; дело шло об усвоении простейшего алгоритма, или конвейерной фабрикации образцовых ницшеанцев, стало быть, о голой технике разведения, и, пожалуй, ни в чём не сказалась провокация столь ярким образом, как в этой издевательской диалектике, позволяющей какому угодно интеллектуальному и богемному проходимцу с минимумом средств рассчитывать на ассимиляцию максимума; так приблизительно и становились тем, чем сам он, повторим это, не был никогда: ницшеанцами, оргиастами, выскочками страсти, плагиаторами чужого умоисступления, шумными самозванцами невыстраданной тишины, высокомерными дублёрами незнаемых болей и восторгов, “сверхчеловеками” (в сущности, лишь “сверхгомункулами”), о которых он, словно бы предвидя их, обронил вешнее слово, что они — “дурно пахнут” (KSA 4, 369).

“Беги, мой друг, в своё уединение: я вижу тебя искусанным ядовитыми мухами. Беги туда, где веет суровый, свежий воздух!.. Ты жил слишком близко к маленьким, жалким людям. Беги от их невидимого мщения!.. Не поднимай руки против них. Они — бесчисленны, и не твоё назначение быть махалкой для мух... Они жужжат вокруг тебя со своей похвалой: навязчивость — их похвала. Они хотят близости твоей кожи и твоей крови” (“Так говорил Заратустра”). Невозможно без содрогания смотреть на этот постепенный и катастрофический слёт ядовитых мух, называемый ницшеанством; “жертвоприношение мёдом”, каковым по замыслу философа и должно было быть его учение, в самом скором времени обернулось каким-то почти пословичным “за мухами не видно мёду” — зловещий образ, определивший на десятилетия вперёд судьбы этой философии.

Трудно вообразить себе какое-либо духовное событие (да к тому же ещё такого ранга), которое подверглось бы большим глумлениям, осквернениям, насильственным искажениям; можно было бы вкратце пройтись по некоторым наиболее типичным и задающим тон вехам этого шабаша. Первые трупные симптомы обнаружались ещё прижизненно, когда сошедший с ума философ доживал свои дни в лечебнице для душевнобольных; известны по меньшей мере две попытки, два совершенно бредовых проекта его излечения. Юлиус Лангбен, так называемый “der Rembrandtdeutsche”, автор анонимно изданной книги “Рембрандт как воспитатель”, ставшей одной из библий немецкого национализма, первым вознамерился спасти эту “прометеевскую

душу” и наставить её на путь истинный; план вкратце сводился к следующему: внушить больному, что он принц, отвезти его в Дрезден и создать вокруг него подобие королевского двора, где самому Лангбену была отведена роль камергера и интенданта, на деле — психиатра-инкогнито (удивительно, что только решительным вмешательством Овербека, друга больного философа, удалось пресечь эту ненормальную затею). Аналогичный абсурд почти одновременно возник в голове Альфреда Шулера, мюнхенского “космика” и мистагога, близкого к кружку Георге: здесь речь шла о посещении Ницше и исполнении в его присутствии корибантского танца, что, по мнению самого танцовщика, должно было привести к незамедлительному просветлению (на этот раз затея сорвалась за неимением суммы, необходимой для приобретения медных доспехов, т. е. реквизита). Случаи достаточно жалкие и едва ли достойные чего-то большего, чем внимания биографа, не окажись они в лице своих инициаторов зловещими симптомами будущей сатанизации ницшеанства в идеологии национал-социализма: оба, Лангбен и Шулер, вписали свои имена в списки предтеч и духовных отцов гитлеризма, а Шулер, по ряду сведений, оказал и непосредственное личное влияние на слушавшего в 1922 г. его лекции Гитлера. Появление этих фигур в самом преддверии культурной канонизации ницшеанского наследия глубоко символично; здесь, пожалуй, и следовало бы искать камертон, по которому настраивалась печальной памяти деятельность “Архива Ницше”, этого центра едва ли не всех последующих фальсификаций ницшеанской философии. Борьба за Архив, в сущности, за понимание самой философии, разгорелась уже в 90-х гг. прошлого столетия, когда встал вопрос о приведении в порядок огромного количества неопубликованных рукописей и подготовке полного собрания сочинений; руководство Архивом взяла на себя Элизабет Фёрстер-Ницше, сестра философа. Фрау Фёрстер-Ницше — “любимая сестра” и “единомышленница”, “конфидентка” и чуть ли не единственная “ученица”, автор многотомной “Жизни Фридриха Ницше”, удивляющей и по сей день техникой вдохновенной бессовестности в перекройке и перестройке этой кровно близкой и духовно чуждой ей жизни; можно только удивляться “католической” гибкости, с каковою эта носительница фамильной честности своей протестантской семьи в кратчайший срок разыграла некое подобие Константинова дара и предстала миру аутентичной наследницей того, кто, уходя во мрак, успел-таки предупредить мир о своей “взрывоопасности”. “Фрау Фёрстер — патологическая лгунья” — от этой оценки Бинсвангера, иенского врача Ницше, как выяснится, был не так уж далёк и сам “брат”. Мошенничества не уступали по уровню и качеству архетипам бульварной литературы; нужно было прежде всего обеспечить миф наследственности, и, поскольку реальность оказывалась до противоположного иной, в ход пускались средства самого примитивного и низкопробного подлога, скажем переадресат писем, где “любимой” и “дорогой” представала уже не мать или какая-нибудь из добрых подруг, а “сестра” — неугодные имена в оригиналах устранялись... нечаянными кляксами. Уже гораздо позднее выяснится, что “любимая сестра” была, скорее, “ненавистной”, ограниченное и никак не лабиринтное создание, несущее в себе всю непредсказуемость обывательски-женской энергии (“она не перестаёт мучить и преследовать меня”, — вырвалось однажды у него в связи с очередной интригой), раздражало и не могло не раздражать во всех смыслах (“Люди вроде моей сестры неизбежно оказываются непримиримыми противниками моего образа мыслей и моей философии”. Или ещё: “Как можем мы быть родными — вот вопрос, над которым я часто размышлял”). Символичной — не только в жизненных, но и в посмертных судьбах — оказывалась и двойная фамилия: ницшеанство ближайших десятилетий, можно сказать, всей первой половины нашего века правильнее было бы назвать не ницшеанством собственно, а неким фёрстер-ницшеанством; Бернгард Фёрстер — “зять”, и ещё раз отнюдь не “любимый”, — подвёл окончательную черту в отношениях брата и сестры. Гимназический учитель в Берлине, сделавший антисемитизм профессией и чуть ли не призванием, он начал свою карьеру с того, что задевал и даже избивал евреев на улице; женившись на Элизабет Ницше в 1885 г., он переехал с нею в Парагвай, где молодожёны, спасаясь от “еврейского засилья”, вознамерились основать “Новую Германию”, некий химерический аналог пуританских утопий XVII в. Антисемитизм, сыгравший в своё время немаловажную роль в разрыве отношений между Ницше и Вагнером, был, возможно, последней каплей, переполнившей чашу терпения в отношениях с

сестрой, на этот раз “мстительной антисемитской дурой” (die rachsichtige antisemitische Gans) (Письмо к М. фон Мейзенбуг в мае 1884 г.). Д-р Фёрстер, запутавшись в многочисленных финансовых махинациях, покончил самоубийством — в год болезни Ницше; оставалась сестра — Фёрстер-Ницше, — олицетворявшая собой этой двуфамильностью многочисленные духовные махинации, которые надолго определили участь ницшеанства.

Махинации не прошли незамеченными. Уже Фриц Кёгель, талантливый редактор первого полного издания, доведший публикацию до 12-го тома включительно, озаменовал свой протест уходом из Архива; речь шла, в частности, о каталогизации заметок, относящихся к 80-м гг., — заметок, которым с уходом Кёгеля суждено было обернуться пресловутой компиляцией “Воли к власти”, этой чистейшей фальшивки, сыгравшей столь решительную роль в псевдоидеологизации ницшевского мировоззрения. Первый тревожный сигнал, оповестивший мир о том, “в чьих руках оказалось наследие Ницше”, исходил от Рудольфа Штейнера, долгое время работавшего в Архиве и отказавшегося стать редактором заведомо фальсифицируемых материалов; если бы к этим предостережениям, датированным 1900 г. (год смерти Ницше), отнеслись с должным вниманием, то не пришлось бы дожидаться сенсационного издания Карла Шлехты (1956), рассредоточившего так называемую “Волю к власти” и вбившего осиновый кол в плакатно усвоенное нацифицированное ницшеанство.

Задача была проста и в простоте этой рассчитана на безошибочный эффект: сотворить из недавнего истребителя кумиров нового и во всех смыслах отвечающего спросу эпохи кумира. Эпоха, погрязшая в пресностях обязательного рационализма и в его мещански-бытовых проекциях, требовала лакомств и обжигающих приправ, какого-то непременно героического и непременно трагического духовного анекдота, короче, некой “дионисической” компенсации своего карикатурно-аполлонического благополучия — стресса, готового выдержать любые издержки ради чаемой остроты ощущений. Расчёт оказывался дьявольски пронизательным: коммерческий Ницше, омещаненный Ницше, Ницше, поданный на манер толстовской “Крейцеровой сонаты”, в гостинной “с мороженым и декольтированными дамами”, действительно и уже в объёме всего творчества сошедший с ума Ницше, ибо зачитанный до дыр, хуже — принятый, хуже — по-своему понятый и обоженный... “базарными мухами”, настоящий повелитель мух, слетающихся на всё сладкое в мирное время и готовых обернуться весёлыми бестиями в час бойни и смут, — таков был спрос, таков был вкус, и такова отвечающая вкусу и спросу цель. В каком-то смысле подлог выглядел пустячным делом; провокаторская натура *стиля*, впечатляя позициями *фронта*, оставляла без присмотра тыл, так что труднейшее для понимания оказывалось одновременно легчайшим для профанации. “Идеальный монолог” (см. выше) только и мог быть рассчитан на “идеального слушателя”; слушатели, увы, были более чем реальны — и язвительная реплика Ницше об оглушении христианской идеи в христианах в полной мере оборачивалась против него самого, претерпевшего невообразимый эффект оглушения в ницшеанцах. Не было ничего проще, чем вытравить из текстов музыку, страсть и личность и предоставить тексты самим себе как сплошной бумбум, как свирепую оргию взбесившихся инстинктов, как без вкуснейший философский канкан, разжигающий интеллектуальную похоть образованного обывателя и западающий в память рядом профанированных символов. Если утрудить себя сопоставлением и сравнением двух текстов — сфабрикованной “Воли к власти” и восстановленных в первоначальной последовательности тех же отрывков, — то качество и масштабы случившегося поразят воображение. Взору предстанут две несоизмеримые картины, относящиеся друг к другу как серия фотомонтажей к естественной жизни лица, как изготовившийся в стойке боксёр к мученику мысли, едва успевающему (в промежутках между невыносимыми болями) заносить на бумагу беспорядочный и в то же время необыкновенно ясновидческий шквал “истории ближайших двух столетий”. Сомнений нет, этот второй устраивал меньше всего; мысль, рассчитанная на почти смертельное напряжение всех (а не только головного) органов понимания, рассчитанная, стало быть, на некий обязательный акт

читательского самопреодоления, чтобы глаза и уши, привыкшие к философским мурлыканьям академического ширпотреба эпохи, перестроились на до сократический лад трагического восприятия идей, — эта мысль, ещё раз, устраивала меньше всего; устраивал цитатно оболганный, идеологически оболваненный двойник: устрашающий горлохват в проекции культуркритических сенсаций, обернувшийся бестселлером популярнейший “Заратустра” — третий по счёту идол (наряду с лютеровской Библией и “Фаустом”) в рюкзаках отправляющегося на фронт немецкого юношества.

Итоги — ещё до второй мировой войны — подводила первая, устами “противников”. Вот несколько свидетельств, тем более ошеломляющих, что принадлежат они в основном не фельетонистам, а реальным политикам. Лорд Кромер, бывший генеральный консул и организатор Египта (в английской “Spectator”): “Одна из причин, вынудивших нас принять участие в этой войне, заключается в том, что мы должны защитить мир, прогресс и культуру от того, чтобы они не пали жертвой философии Ницше”. Роберт Сесиль; “Миссия Антанты — заменить волю к власти, это дьявольское учение немца, волей к миру”. Луи Бертран (во французской “Revue des deux mondes”): война с её разрушением церквей — непосредственное творение Ницше. Худшее, однако, было впереди: осенью 1934 г. Архив посетил новоиспеченный фёрстер-ницшеанский “сверхчеловек” — Адольф Гитлер. Встреча протекала в довольно забавных тонах; по свидетельству принимавшего в ней участие Шпеера, “эксцентрично-увлечённая фрау (в возрасте без малого 90 лет. — К.С.) явным образом не могла сговориться с Гитлером; завязался необыкновенно плоский, никак не клеившийся разговор”, что, однако, не помешало престарелой вдове бывалого юдофоба рассыпаться в восторженных комплиментах перед своим собеседником и даже подарить ему на память трость брата. Механизм идентификации и на этот раз сработал в “общезначимом” порядке: в ряду героических “провидцев отечества” и “предтеч” — Лютер, Гёте, Бетховен, Гёльдерлин, Вагнер (кто ещё?) — автор пресловуто мифической “Воли к власти” занял одно из наиболее видных мест, надолго омрачившее его духовную, да и просто “человеческую, слишком человеческую” репутацию.

Эффект этой идентификации зависел по меньшей мере от двух условий — нужно было, во-первых, не утруждать себя сколько-нибудь вдумчивым прочтением текстов, и нужно было, во-вторых, сводить дело к броским и легко запоминающимся обрубкам фраз. В конце концов каждому эпохальному мыслителю приходится выдерживать свой плебисцит — некое испытание прокрустовым ложем обобщений, где речь идёт не о “забытых добродетелях правильного чтения”, до которых нет никакого дела торопливому и вечно занятому большинству, а о своеобразной редукции всего мировоззрительного объёма к двум-трём росчеркам в общем и целом — чтобы “покороче и яснее”. Этого испытания — скажем сразу же — Ницше не выдержал; да и кто бы выдержал его! Говоря в кредит будущих возможных недоразумений, — он не выдержит его никогда и ни при каких обстоятельствах; слишком чудовищным оказался резонанс первого недоразумения. Дело вовсе не в том, что автор “Заратустры” попал в ряд “предтеч” национал-социализма; он, как мы видели, разделял эту участь с достаточно внушительными именами мирового калибра, — дело в том, что эта псевдоидеологическая интерпретация, которой идеологи нацизма, в стремлении обеспечить имманентную и почвенную подоплёку движения, придавали особое значение, оказалась более живучей, чем любая другая, и надолго пережила породившую её причину. Симфонии Бетховена, не в меньшей степени “работающие” на режим, чем проповеди Заратустры, даже и не нуждались в послевоенном карантине денацификации, настолько абсурдной могла бы показаться мысль об их запятнанности. Карантин ницшевской философии — плачевнейший факт европейской культуры — частично длится и по сей день, во всяком случае, у нас, где до сих пор ещё не сделано ни одной сколько-нибудь серьёзной попытки пересмотреть этот вопиющий стереотип, в то время как на Западе, после ставших классическими изданий Шлехты и Колли — Монтинари, а также потока публикаций, посвящённых “казусу Ницше”, просто неприличной выглядит уже столь однозначная и одиозная оценка этой мысли.

Подведём некоторые итоги. Если избавиться от расхожего предрассудка, гораздо навешивать ярлыки на основании отдельных вырванных из контекста (к тому же тенденциозно подобранных) отрывков, — кто, спросим снова, из мыслителей всех времен выдержал бы эту процедуру, не очутившись в стане “врагов человечества”? — если, стало быть, брать вопрос должным образом, т.е. в конкретно понятом целом, а не в химерически отвлечённом “общем и целом”, то нацистский ангажемент Фридриха Ницше обернётся не просто очередной фальшивкой в духе пресловутых традиций Архива, но фальшивкой, абсурдной в обоих — буквальном и аллегорическом (допустив, что до символа ситуация не дотягивается) — смыслах. Уже не говоря о холодном и недоверчивом отношении со стороны власть имущих “философов” — Альфред Розенберг в “Мифе XX столетия” специально подчёркивает неарийский характер дионисизма и тем самым всего ницшевского мировоззрения, — достаточно обратить внимание на ряд самых существенных диссонансов, чтобы понять, каким бесстыдным образом могло здесь белое выдаваться за чёрное. Кто станет спорить с тем, что нацистская идеология в целом (да и, пожалуй, в общем) сводится к трём основополагающим принципам: пангерманизму, антисемитизму и славянофобии! Но если так, то не стоит ли в целях окончательного устранения кривотолков проэкзаменовать Ницше именно по этим трём пунктам — с обязательной оговоркой, что речь идёт на этот раз не о предумышленных цитатных вырезках, а о едином контексте всей его философии!

Итак, 1. Пангерманизм. — Здесь, за вычетом кратковременного, юношески-вагнерианского “германства”, картина до того ясна, что даже самому пристрастному и фанатичному космополиту пришлось бы признать чудовищные издержки и, возможно, призвать автора к порядку. Вот несколько выбранных наугад свидетельств (воздерживаемся от сносок, полагая, что читатель без труда удесятрит их количество при чтении самих текстов): “Немцы — их называли некогда народом мыслителей: мыслят ли они ещё ныне вообще?” — “Deutschland, Deutschland uber alles, я боюсь, что это было концом немецкой философии...” — “Этот народ самовольно одурял себя почти в течение тысячи лет”. — “Надутая неуклюжесть умственных приёмов, грубая рука при схватывании — это нечто до такой степени немецкое, что за границей это смешивают вообще с немецкой натурой”. — “Определение германцев: послушание и длинные ноги...” — “Происхождение немецкого духа — из расстроенного кишечника...”, — “Куда бы ни простиралась Германия, она портит культуру”. — “По-немецки думать, по-немецки чувствовать — я могу всё, но это свыше моих сил...” — “Не могу ли я предложить слово “немецкий” как международную монету для обозначения этой психологической испорченности?” И уже как бы в прямом предвидении будущих “господ Земли” — “народа, состоящего из 80 миллионов аристократов” (по меткой формуле Даниэля Алевина), — предупредительная оговорка Заратустры: “Гости мои, вы, высшие люди, я хочу говорить с вами по-немецки и ясно. Не вас ожидал я здесь, на этих горах”. Характерный симптом: даже Альфред Боймлер, философ ex officio, основательно потрудившийся над впихиванием Ницше в кругозор горланящих на парадах ландскнехтов, не удерживается от негодования в адрес “предтечи”. Вот его приговор: “Это — сознательное предательство, когда Ницше пишет Тэну в Париж: “Я страдаю от того, что мне приходится писать по-немецки, хотя я, пожалуй, пишу лучше, чем когда-либо вообще писал какой-нибудь немец. В конце концов французы уловят на слух в книге (речь идет о “Сумерках идолов”) глубокую симпатию, которую они заслуживают; я же всеми своими инстинктами объявляю Германии войну”. Нужно смотреть вещам в лицо: Ницше нарочно обращает внимание француза на раздел, направленный против немцев. Это нечто принципиально иное, чем просто пересылка книги, в которой фигурирует названный раздел, — это поступок. Измена родине как поступок оглашается и в предпоследней, всё ещё сохраняющей ясность открытке, посланной Овербеку: “Я и сам занят как раз составлением Prometheus для европейских дворов с целью создания антинемецкой лиги. Я хочу зажать “Рейх” в ежовых рукавицах и спровоцировать его к отчаянной войне””. Остаётся лишь догадываться, каковой могла бы быть участь “изменника”, доведись ему дожить до реалий следующего, им-де накликаемого “Рейха”!



2. Антисемитизм. — Ещё несколько отрывков на выбор и без комментариев: “Евреи, без сомнения, самая сильная, самая цепкая, самая чистая раса теперь в Европе”. “Мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы, при всех планах, которые он составляет себе относительно этого будущего, будет считаться с евреями — и с русскими, — как с наиболее надёжными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил”. — “Было бы, может быть, полезно и справедливо удалить из страны антисемитических крикунов”. — “Встретить еврея — благодеяние, допустив, что живёшь среди немцев”. — “Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом!.. Ни в каком ублюдке здесь нет недостатка, даже в антисемите. — Бедный Вагнер! Куда он попал! — Если бы он ещё попал к свиньям! А то к немцам!..” Мотив настолько глубокий, что даже в последних, невменяемых туринских письмах речь идёт о “ликвидации Вильгельма, Бисмарка и антисемитов”.

И наконец, 3. Славянофобия. — Начнём с того, что этот мыслитель, на которого некоторые увлечённые публицисты возлагали чуть ли не решительную вину за идеологию национал-социализма, никогда не уставал подчёркивать — и притом именно в пику соотечественникам — преимущества своего польского происхождения. Теперь постараемся представить себе чувства, которые должен был испытать какой-нибудь приверженец названной идеологии при чтении хотя бы следующего признания: “Одарённость славян казалась мне более высокой, чем одарённость немцев, я даже думал, что немцы вошли в ряд одарённых наций лишь благодаря сильной примеси славянской крови”. Не умолчим и о самом существенном: когда миссией Антанты провозглашается спасение мира от философии этого “дьявольского немца”, мы вправе были бы пожать плечами и судить о легковесно-газетном преувеличении в том лишь случае, если фраза действительно исходила бы от полемически зарвавшегося газетчика, а не от реального и к тому же влиятельного политика. Что-то особенное и совершенно небывалое удалось предвидеть в наступающем XX веке этому сейсмографически чуткому провидцу, вскричавшему, как никто, о “восходящем нигилизме”, об “эпохе чудовищных войн, крушений, взрывов”, об “условиях, которые и не снились утопистам”: “Начинается эпоха варварства; науки будут поставлены ей на службу” или “Наступает время борьбы за господство над земным шаром — она будет вестись во имя основных философских учений” — что-то такое, после чего “миссия Антанты”, пожалуй, покажется нам не такой уж и преувеличенной. “Понятие политики, — так скажет он в “Ессе Homo”, — совершенно растворится в духовной войне; все формы власти старого общества взлетят на воздух; будут войны, каких ещё никогда не было на земле”. И, наконец, решающее место — своего рода духовное credo и политическая программа, в сущности, выпад философа, на которого и ополчится будущая Антанта: “Мелочность духа, идущая из Англии, представляет нынче для мира великую опасность. Чувства русских нигилистов кажутся мне в большей степени склонными к величию, чем чувства английских утилитаристов... Мы нуждаемся в безусловном сближении с Россией и в новой общей программе, которая не допустит в России господства английских трафаретов. Никакого американского будущего! Сращение немецкой и славянской расы”.

И вот — после столь глухого перерыва — снова: Фридрих Ницше на русском языке. Трудно передать в слове, что именно могли бы мы испытать при этом, допустив, что мы не стали бы демонстрировать в этом случае академическую выдержку и делать бесстрастную мину при столь неожиданной игре. Должно быть, нечто вроде шока; должно быть, некоторую неловкость (с непривычки), внезапную смятённость и моментальную мобилизацию всего бессознательного горизонта... Ницше, оболганный, табуированный, поражённый в культурных правах, Ницше, обречённый на пиратское существование между спецхраном и чёрным рынком, пущенный на культурный самотёк и всё ещё — сенсационный, подпольный, мушиный; будем надеяться, этому Ницше приходит конец. Мошеннический образ, долгое время служивший прообразом “сильных” ничтожеств — от героев Арцыбашева и Пшибышевского до маньяков государственной власти, — безвозвратно сдаётся в архив авантюры века; этой философией, можно сказать со всей уверенностью, не вдохновится больше ни один унтер-офицер. Остаётся иной образ, но —

внимание! — отнюдь не безопасный, отнюдь не разминированный, отнюдь не легко перевариваемый: да, всё ещё опасный, взрывоопасный, всё ещё “динамит”, но — иной. “Философ неприятных истин” — так однажды вздумалось ему назвать себя, ещё до того, как истины эти были названы им же “ужасными”. Какая странная ирония! Десятилетиями мы держали эти ужасные писанные истины под замком, отдаваясь по-неписаному ужасам, в сравнении с которыми они показались бы разве что невинными приближениями; десятилетиями кому-то думалось, что читать “вот это вот” опасно, словно речь шла о воспитанных мальчишках, которых надо было уберечь от этой смертельно ужаленной и оттого “неприятно” жалящей совести... Опасно? Но не опаснее же самой действительности, которую так разрушительно чувствовал и небывалые вирусы которой впервые привил себе, продемонстрировав на себе их действие, этот человек! Вирусы остаются в силе, и, покуда ещё они будут оставаться в силе, жертве Фридриха Ницше придётся быть не столько философским наследием, сколько злобой дня. Во всяком случае, шифром к ней окажется отнюдь не традиционно понятая философия.

Посмертные судьбы Ницше — это судьбы систематического опошления и оглупления идеи «сверхчеловека» демократическим большинством. Попытка стать Богом, ставшая на деле лишь криком моды и образцом для подражания бесчисленных кроликов, разыгрывалась в жанре пародии; в конце концов речь шла о попытке с негодными средствами: коварная Богиня Музыка, захотевшая говорить не в тонах, а в словах, сорвала грандиозное мероприятие, успех которого мог быть спровоцирован чем угодно, только не... музыкой. Парадокс Ницше не в патологии его темы, а в её *исключительной нормальности*; не оттого он отказался от профессуры и предпочёл ей творение мира, что был болен, а оттого, что искал *абсолютного здоровья*. Ставка на музыку оказалась губительной; решаясь на то, на что решился он, не держатся музыки, совсем напротив: затыкают уши воском и привязывают себя к мачте сознания, чтобы не уйти с головой в чарующую гравитацию тристановского болота. Спесивые «кролики», которые хозяйничают в философии Ницше, оттого не ведают никаких трудностей в её усвоении, что не утруждают себя вовсе поиском единственного надлежащего шифра к разгадке его срыва. О шифре он обмолвился сам, нечаянно выдав собственную тайну, — ещё в первой юношеской своей книге о трагедии: в том самом — захватывающе исповедальном — отрывке, где речь идёт о “демоне” Сократа, убийцы трагедии, — демоне, велевшем Сократу слушаться музыки. Трагедия умерла, но трагедия возродится, и символом этого возрождения был бы отдавшийся музыке Сократ — ненавистный диалектик, который обменял бы всю оружницу своих аргументов на внезапное чудо — запеть... И ещё одно юношеское признание о какой-то книге — в сущности, о всех своих будущих книгах: “По сути дела, это музыка, случайно записанная не нотами, а словами” (Письмо к Софии Ричль от 2 июля 1868 г. — Br., 2, 298). Прибавить к этому нечего. Но какой случайностью можно было бы объяснить странный факт, что меньше всего в этой музыке была услышана сама музыка и больше всего — насильственно отторгнутые от неё и уже не отвечающие за самих себя слова!

# История одного поражения

*Публикуется по изданию «Ноян Топан», Ереван, 1999*

"Братцы, - сказал самый старый карлик, - мы в опасности. Я угадываю жест этого великана. Он собирается помочиться на нас. А когда мочится великан, это потоп. Нам конец, если он начнет мочиться. Я уже не говорю о том, в каком отвратительном элементе мы утонем".

"Проблема, - сказал второй карлик, - как помешать великану помочиться?"

"Проблема, - сказал третий карлик, - как помешать великому по-великому сделать нечто великое?"

"Благодарю вас, - с достоинством ответил старый карлик. - Судя по всему, проблема взята философски, интерес к ней удвоен, решение ее подготовлено".

"Надо его испугать", - сказал четвертый карлик.

"Надо его защекотать", - сказал пятый карлик.

"Надо его укусить в пальцы ног", - сказал шестой карлик.

"Сделаем все одновременно, - решил старший. - Я вижу, задача нам по плечу. Этот великан не станет мочиться".

*Из посмертно опубликованного наследия.*

## **1. Расхвачанное одиночество**

3 января 1889 года в Турине из дома на via Carlo Alberto 6, III вышел, отправляясь, по-видимому, на очередную прогулку, скромного вида и как бы несколько подчеркнуто незаметный господин. Туринцам он не должен был казаться незнакомцем; его впервые заметили весной прошлого года, и уже после, исчезнув куда-то на лето, он снова появился здесь в последних числах сентября, живя тихой размеренной жизнью, не нарушаемой никаким общением. О его

национальности можно было догадываться; во всяком случае, он сходил скорее за поляка<sup>31</sup>, чем за кого-либо другого, и если случаем в нем опознавали немца, то не иначе как в маске некоего "должностного лица"<sup>32</sup>. Предательскими выглядели лишь манеры, выдающие в нем что-то необыкновенно значительное: безусловный аристократизм, засвидетельствованный всей осанкой и сигнализируемый почти что условными рефлексами; какое-то патологическое благородство, исторгшее (кто мог бы об этом знать?) пятнадцатилетием раньше из уст Рихарда Вагнера возмущенно-восхищенный рев зависти: "Я дал бы сейчас сто тысяч марок, чтобы уметь вести себя, как этот Ницше"<sup>33</sup>. Странная, хотя по-своему вполне естественная абберрация: в оценке профессорской касты, успевшей уже бросить небрежный взгляд на сочинения недавнего коллеги и нынешнего отщепенца, дело шло об однозначно воспринятом "чудовище" и "выродке" (с амортизирующими скидками на "мегаломанию" и "эпатаж"); оценка профанов - скажем так, мытарей в противоположность книжникам - вызвучивалась в решительно иной тональности: эти люди, не сильные в грамоте и, стало быть, не читавшие книг, но умевшие видеть то, чего ни при каких обстоятельствах не увидел бы иной "коллега", - случайные попутчики, хозяева отелей, соседи за табльдотом - они-то и разглядели в "чудовище" врожденный лик "святого": "il piccolo santo"<sup>34</sup>. Любопытный штрих уже из туринских впечатлений: "Что мне до сих пор особенно льстило, так это то, что старые торговки не успокаиваются, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда". И тут же вывод - удовлетворенный закид головы: "Надо быть до такой степени философом" (KSA 6,301). Потом, уже из гомона пересудов и кривотолков, будут вспоминать, да так и не вспомнят ничего особенного. Регулярные одинокие прогулки. На вопрос мимолетных знакомых о самочувствии неизменно-улыбчивое: "sono contento". Долгие засиживания в библиотеке Розенберга и Селье на via Maria-Vittoria. Вот разве что редкие посещения маленького очаровательного театра под открытым небом с весьма недурным симфоническим оркестром и тщетными стараниями удержаться от слез<sup>35</sup> - настолько, впрочем, нормальных в колорите местной топики, что уже как бы и незаметных. И еще расскажет добрый Давид Фипо, продавец газет и хозяин дома на via Carlo Alberto, о ежевечерних долгих фортепианных импровизациях своего постояльца.

Короче, ничто не предвещало катастрофы в этот ясный новогодний туринский день, когда незнакомец вышел на очередную прогулку. Ничто, кроме разыгравшейся у самого дома, на стоянке фиакров, сцены, где озлобленный извозчик сек кнутом распластанную на земле клячу. Дальнейшее свершилось уже по всем правилам поэтики "невыразимого", того "самого тихого часа", ледящую тишину которого он подслушал однажды в своей странной книге о Заратустре: "Знаете ли вы испуг засыпающего? - До пальцев своих ног пугается он, ибо почва уходит из-под ног его и начинается сон" (KSA 4, 187). Судьбе (все той же поэтике "невыразимого") угодно было, чтобы этот сон оказался буквальной реминисценцией другого сна, увиденного за тысячи километров от Турина неким... литературным персонажем, невыносимо родным, до того родным, что моментально внушившим какое-то мистическое благоговение перед незадолго до этого и случайно открытым автором; случилось так, что сон, увиденный однажды в Санкт-Петербурге вымышленным героем романа (словно и среди реальных людей есть невымышленные!..), спустя десятилетия буквально появился наяву в Турине и продолжился уже до самой смерти в психиатрических лечебницах Базеля и Йены и в коляске, катаемой в окрестностях Веймара. "... Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут... С криком пробивается он сквозь толпу к савраске,

<sup>31</sup> «Еще этой зимой я был зарегистрирован в списках иностранцев, посетивших Ниццу, comme Polonais (письмо Г.Брандесу от 10.04.1888)

<sup>32</sup> «Меня принимают за какого-то ufficiale tedesco» (П.Гасту от 07.04.1888)

<sup>33</sup> E.Forster-Nietzsche, Das Leben Friedrich Nietzsches. Bd.2, 1.Abt. S. 180.

<sup>34</sup> См.: K.Heckel, Nietzsche. Sein Leben und seine Lehre. Leipzig, 1922, S.91.

<sup>35</sup> Ср.: «Вслед за этим нечто только для всего струнного оркестра: после 4-го такта я был в слезах» (П.Гасту от 02.12.1888. Br., 8, 498)

обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует в глаза, в губы..." ("Преступление и наказание"). По счастью, находящийся поблизости и привлеченный выкриками любопытных хозяин дома опознал в упавшем своего жильца и с величайшим трудом перенес его в дом. Невменяемость была налицо. Больной заперся у себя в комнате, не желая никого видеть. Гнетущие часы протрации сменялись дикими воплями и ночными фортепианными импровизациями. Потом по разным адресам пошли странные открытки, намалеванные большими буквами и производящие впечатление неудачного розыгрыша. "Мете фон Салис в Маршлинс. Турин, 3 января 1889 года. - Фрейлейн фон Салис. Мир просветлен, ибо Бог на земле. Разве Вы не видите, как ликуют небеса? Я только что вступил во владение моим царством, заточил в темницу папу и велел расстрелять Вильгельма, Бисмарка и Штекера. Подпись: Распятый" (Вг. 8,752). "Якобу Буркхардту в Базель. Турин, 4 января 1889 года. - Моему досточтимому Якобу Буркхардту. Это была маленькая шутка, ради которой я прощаю себе скуку, обошедшую мне в сотворение мира. Нынче Вы - нет, ты - наш великий величайший учитель: ибо я, вместе с Ариадной, имею быть лишь золотым равновесием всех вещей... Подпись: Дионис (Вг. 8,574). "Паулю Дейссену в Берлин. Турин, 4 января 1889 года. - После того, как безоговорочно выяснилось, что я самолично сотворил мир, в мировом плане предусмотренным оказывается и друг Пауль; ему надлежит, вместе с господином Катюлем Мендесом, быть одним из моих великих сатиров и праздничных зверей. Подпись: Дионис (Вг., 8, 574). 19 аналогичных открыток за 4 дня, адресованных не только друзьям и знакомым, но и: королю Италии Умберто 1 и кардиналу Мариани; этого, разумеется, было вполне достаточно, чтобы поставить в известность немецкого консула в Турине. Судьба распорядилась иначе. 8 января после предварительной консультации с базельским психиатром, профессором Л.Вилли, в Турин выехал друг потерявшего рассудок незнакомца, профессор теологии Франц Овербек. Предстояло решить довольно рискованную задачу: переправить больного в Базель, не вступая в конфликт с местными властями, имевшими все основания в случае огласки болезни интернировать иностранца в Италии. 9 января с помощью немецкого врача-стоматолога Мишера, проживавшего в Турине, Овербеку удалось усадить больного в поезд. Обошлось без происшествий, хотя каждая минута сулила что угодно. Помешавшийся вел себя тихо и ничем не отличался от прочих пассажиров, если не считать того, что ночью, когда поезд пересекал Сен-Готард, он внезапно *запел*.

В этом поезде, отвозившем Фридриха Ницше из Турина, его "*резиденции*", в базельский сумасшедший дом, свершилось последнее, по счету и по значимости, *инкогнито* великого страдальца познания. Европа так и не опознала в нем своего "*наследника*", отреагировав холодным невниманием к сгорающему от шквала разрушительного ясновидения "*несвоевременцу*", в котором, как в магическом зеркале, отразилась судьба ближайшего столетия - история восхождения европейского нигилизма. "Пять ушей - и никакого звука в них! Мир стал нем..." (KSA 13, 549). Начиналось, конечно, не так; когда в 1866 году 22-летний студент-филолог Лейпцигского университета дал на прочтение профессору Ричлю, "*первому филологу Германии*", свою рукопись "Последняя редакция элегий Феогнида" и когда потрясенный Ричль, спустя два года, перепроверив свое потрясение пятью-шестью новыми статьями "*чудо-мальчика*", рекомендовал еще студента на должность экстраординарного профессора классической филологии Базельского университета (каковая рекомендация немедленно возымела действие), а параллельно Лейпцигский университет без защиты и на основании все тех же статей присудил экстерном перелетевшему из "*студиозуса*" в "*господина профессора*" безбородому юнцу докторскую степень, то даже в издававшей научные виды Германии это событие прогремело торжественным залпом в честь рождения престолонаследника... филологии. "Он может все, чего он захочет", - в этой визе, данной Ричлем своему любимцу и рассчитанной, очевидно, только на филологический ангажемент, странным образом, запечатлелись именно головокружительно-маргинальные судьбы будущих изломов мысли, если в чем и уверенной, то в собственной *мочи*, но едва ли подозревавшей тогда, *что* и *как* ей придется еще *захотеть*. Филология усваивалась им и изживалась с любовным прилежанием и почтением, но филология не кружила голову, но от

филологии не шли мурашки по телу, но филология не дышала "почвой и судьбой"; первородство и геральдика этой души искали себе адекватных потрясений и посвящений, и купить их корпением над текстами, сдобренными скоропостижной профессурой и прочным местом в научной табели о рангах, было не менее безнадежным расчетом, чем отвлечь Гамлета от пятого акта трагедии, суля ему портфель министра в кабинете Фортипбраса. Учителя и коллеги знали о музыкальных увлечениях молодого филолога - вещь для Германии более чем обычная; блестящий импровизатор и фортепианный виртуоз, автор множества композиций и песен<sup>36</sup> - что ж, ситуация вполне отвечала трогательному стереотипу так называемого "хобби", скажем, "Эйнштейна, играющего на скрипке", - скандальность (мягко говоря) заключалась в том, что в самом скором времени пришлось мириться с "Эйнштейном", забрасывающим "теорию относительности" ради "скрипки", которая, как выяснилось, и была единственной пожирающей страстью. Надо помнить об одном, если мы хотим понять феномен Фридриха Ницше "изнутри", стало быть адекватно и по существу: кем бы он ни был или ни казался - от "филолога" до "антихриста", на какие бы куски - от холодного "скептика" до "демона-заступника" национал-социализма - ни разрывали его наемные ловкачи будущих идеологий, одним он был наверняка и непреложно: музыкантом, очутившемся в капкане словесности и страстно силящемся выговорить саму музыку; "если бы богине Музыке, - мы слышали это уже, - вздумалось говорить не тонами, а словами, то пришлось бы заткнуть себе уши" (KSA 10, 104). Ну вот и пойдем же наконец, от чего нам пришлось-таки заткнуть себе уши в случае самого Ницше! - я заранее предвижу и заранее отвергаю все машинальные "так нельзя" прижившегося в нас респектабельного рационалистического истукана, который горазд "объяснять", что угодно, ничего не "понимая". Я спрашиваю: затыкаем ли мы себе уши, слушая музыку Шумана? Я уточняю вопрос: заткнули бы мы себе уши, услышав Шумана не в тонах, а в словах? - Подумаем: "Крейслериана", Соната fis-moll, "Фантастические пьесы", "Симфонические этюды в вариациях", уже в тонах сведшие-таки своего автора с ума и еще раз сведшие его с ума, когда ему вздумалось не вывучить их, а выговорить!.. Об этом-то и шла речь в случае новоиспеченного профессора филологии, который еще не став филологом, уже больше всего тяготился филологией, спеша обменять ее на что угодно, даже на "химию" в видах спасения невыговоренной покуда музыкальной судьбы. "Милый друг, я подношу палец к губам и крепчайше жму Твою руку. Мы все же крупно остались в дураках у судьбы: еще на прошлой неделе я собирался написать Тебе письмо с предложением сообща заняться химией и послать филологию туда, куда ей и место: к скарбу предков. И вот же чертова "судьба" манит филологической профессурой" (Э.Роде от 16.1.1869. Вр., 2, 359-360). Судьба впоследствии манила еще и не тем; этот Одиссей, самовольно привязавший себя к мачте словесности в безумном дерзании не только выдержать музыку сирен, но и обуздать ее словами, обрекал себя на самое чудовищное одиночество и самую чудовищную качку из всех, каковы доводилось испытывать на земле... "Я прихожу с высот, которых не достигала ни одна птица, я знаю бездны, куда не ступала ни одна нога. Мне говорили, что нельзя оторваться ни от одной из моих книг, - я нарушаю даже ночной покой" (KSA 6, 302). Обрядом ужаса обернулось пятнадцатилетие страннического инкогнито между уходом из Базельского университета и возвращением в Базельский желтый дом; в этом поезде, отвозившем ушедшего в беспросветную ночь беглеца к неузнаваемым местам некогда покинутой утренней славы, конец створялся с началом и точкой створения была все та же безумящая шумановская боль. "Ей бы следовало петь... а не говорить" (K.SA 1,15)- так формулировалась задача самой первой, камертонно-настраивающей всю последующую судьбу книги, озаглавленной достойным самой этой музыки образом: "Рождение трагедии из духа музыки". Теперь она пела, под стук колес и в кромешном мраке гигантского туннеля, все снова и снова нарушая ночной покой...

---

<sup>36</sup> Их полное критическое издание в кассельском Bärenreiter - Verlag под редакцией швейцарского музыканта и ницшеведа Курта Пауля Янца в 1966 году.

"На свете нет никого, кто был бы вправе хвалить меня" (KSA 10, 112). Очень гордое одиночество, которому он остался верен до конца. Одиночество, больше того, воинственное, захватническое; дело шло не об отрешенном уходе в себя и погашении личного начала, а об объявлении войны тысячелетиям, так что выдерживать приходилось жуткую антиномию между осознанием себя как Рока "я... человек рока" (KSA 6, 366) и нежеланием "света" считаться с *собственной же* судьбой. О хвале - за отсутствием мало-мальской проинформированности - говорить и не приходилось. Этот инок, превративший свою келью в своего рода амбразуру и обстреливающий мир, вынужден был годами влачить жалкое, полупризрачное существование вышедшего на пенсию профессора, проводящего по состоянию здоровья лето в швейцарских Альпах, а зиму на Ривьере и издающего за свой счет крохотные тиражи собственных никем не читаемых сочинений. Вот некоторые данные статистики, вполне еще нормальные для последних десятилетий XIX века и просто курьезные в перспективе десятилетий XX века: книга "Человеческое, слишком человеческое" к Пасхе 1879 года, т. е. меньше чем за год после выхода в свет, была распродана в количестве 120 экземпляров; количество проданных экземпляров другой книги, "Так говорил Заратустра", за 2 года не дошло и до сотни, а книга "По ту сторону добра и зла" за 10 месяцев разошлась в 114 экземплярах<sup>37</sup>. Еще раз: столь пренебрежительно можно было отнестись либо к никчемному графоману, либо к ... собственной судьбе. Сомнений здесь не было: он нес свою безвестность, подчиняясь нормам трагического жанра, где единственными условиями судьбы только и могли быть незамеченность и внезапность. Трогательно наблюдать отдельные вспышки сверхчеловеческой слабости, время от времени нарушающей гордую эстетику одиночества: эта почти детская гордость при известии о курсе лекций, читанных Георгом Брандесом в Копенгагенском университете на тему "О немецком философе Фридрихе Ницше", эта еще раз детская радость от каждого письма, полученного из Парижа от Ипполита Тэна или из Петербурга от княгини Анны Тенишевой, этот наконец - и уже в самой преддверии катастрофы - навязчивый проект одновременного перевода на 7 языков и одновременного выхода в свет 7-миллионного тиража - порыв, по справедливости остуженный другим просветленным сумасбродом, Августом Стриндбергом из Стокгольма: "И вы хотите быть переведенным на наш гренландский язык?.. Посудите о нашей интеллигенции, когда меня хотели упрятать в больницу из-за моей трагедии, а столь сговорчивому, столь богатому уму, как господин Брандес, эта выпь большинства заткнула рот! Я заканчиваю все письма к друзьям словами: читайте Ницше! Это мое "Carthago est delenda"! И однако в момент, когда Вы будете узнаны и поняты, величие Ваше пойдет на убыль и святая отпетая сволочь будет тыкать Вас, как одного из себе подобных"<sup>38</sup>. Трудно в столь немногих словах лучше охарактеризовать печальной памяти феномен ницшеанства, ставший уже с первых лет нового столетия всеевропейской, а вскоре и мировой культурной сенсацией, - сенсацией, которую он (можно ли в этом усомниться) проклял бы всей силой своей патологической брезгливости ко всему «стадному» и в которой он повторно сходил с ума, на сей раз в жанре не трагедии, а драмы сатиров. "Фридрих Ницше" - некогда сама невыразимость, защищенная "семью шкурами одиночества", отныне же - кричащий плакат, въедливая реклама, гвоздь всех культмассовых мошенничеств, бесстыдный торг подделок и копий, жертвенный мед, облепленный базарными мухами, фетишизированный истукан, обоженный международным культур-отребьем всех слоев, от длинноволосой элитарной богемы до босяков Максима Горького, короче, сплошная невыносимая ассоциация, примагничивающая то именно, от чего он, фанатичный ностальгик чистоты, в ужасе зажимал нос. "Ах, отвращение! отвращение! отвращение - так говорил Заратустра, вздыхая и дрожа" (KSA 4, 275). Случилось самое ужасное: бумеранг смертоносных, выхоженных в абсолютном одиночестве и оттого неосторожных, безоглядных, замороженных только музыкой и заговаривающих музыку слов поражал теперь самого страстотерпца, превращая в *норму то*, что по самой природе своей могло и должно было быть исключением. Исключение

---

<sup>37</sup> Аналогия, уже упомянутая и еще предстоящая в дальнейшем: "Преступление и наказание", вышедшее при жизни автора в двух тысячах экземпляров, продаваемое с 1876 по 1880г. и так и не распроданное за 5 лет.

<sup>38</sup> K. Strecker, Nietzsche und Strindberg, op. cit., S. 31.

(исключительность!) Ницше стало вдруг правилом и даже модой; переживать "да" Ницше - значило в каком-то смысле получать доступ к духовно-культурным деликатесам, к *"ананасам в шампанском"*, и вот же - зрелище, провиденное кистью Босха, навязчивый абсурд, от которого как же не возопить о жесте Л.Толстого, отшвыривающего перо и любовно тачающего сапоги, - целые нескончаемые стада *"избранных"* и *"одиноких"*, затаптывающих хрупкие всходы культуры, настоящий базар одиночества по оптовым ценам - *«мы, ницшеанцы»*: темные подозрительные личности, попы-расстриги, бомбометатели, истерички, грезящие по *«сверхчеловеку»* в тайной надежде наткнуться на *«сверхсамца»*, мистические *«анархисты»*, давящие кошек и путающие *"оргазм с оргазмом"*, бездельники и проходимцы, вчерашние маменькины сынки и сегодняшние ублюдки сильных ощущений, обезьянки чужих восторгов, выдающие себя за горилл, бездарные имитаторы бульварной литературы, импотенты, прикидывающиеся плейбоями, озверевшие бидермейеры, возомнившие себя дионисическими хоревтами, какой-то инкубатор по разведению *"белокурых бестий"*, о которых неподражаемо сказала Рикарда Хух, что *"бестиальности в них не хватало и на одну морскую свинку"*<sup>39</sup>, короче, снова и еще раз *"ницшеанцы"*- на деле, жалкие клептоманы чужого, незнаемого, поспешно расхвачанного, бесстыдно разворованного одиночества. Чудеса интерпретации, чудеса прагматического чтения, чудеса *"века Разума"*! Непобедимый интеллектуальный трафарет *«рационального зерна»* вылущенного из *"шелухи"*. Что же было вылущено из Ницше? Рациональное зерно объемом в прокламацию; я без запинки и машинально воспроизвожу возможный ее конспект. Философия Фридриха Ницше. - Человек, исконно хищный зверь, выродился в домашнее животное тысячами тщаниями морали, религии, идеализма и прочих дрессировщиков человечества. Пришло время освобождения от дрессировщиков и преобразования человека в сверхчеловека. Мораль: надо уничтожить мораль, становиться естественным, стало быть, аморальным, сильным, бессовестным. Горизонталь всеобщего равенства заменить вертикалью иерархии и кастовости: наверху сильные, внизу слабые, наверху господа, внизу рабы. Помнить, что мораль - это изобретение слабых в целях компенсации своих естественных дефектов неестественными добродетелями, некий возмездный механизм, ублажающий тварь нравственными диффамациями в адрес власть имущих. Помнить, что Бог умер и что все позволено. Помнить, что человек есть переход и гибель и что то, что падает, нужно еще толкнуть. Так говорил Заратустра. Не очевидно ли, какой сорт людей должен был ломиться после всего этого в аудиторию названного Заратустры! "Из Якутской области я удачно бежал, - говорит террорист-революционер в романе Андрея Белого, - меня вывезли в бочке из-под капусты; и теперь я есмь то, что я есмь; деятель из подполья... Мы все ницшеанцы... Ну так вот: для нас, ницшеанцев, агитационно настроенная и волнуемая социальными инстинктами масса... превращается в исполнительный аппарат... где люди... - клавиатура, на которой пальцы пианиста... летают свободно, преодолевая трудность для трудности; и пока какой-нибудь партерный слюнтяй под концертной эстрадой внимает божественным звукам Бетховена, для артиста, да и для Бетховена суть не в звуках, а в каком-нибудь септаккорде"<sup>40</sup>. От декадентских шалостей рукой было подать до *"жизненных порывов"*: таков Ницше - вожак стаи *"степных волков"* (в сущности, прикинувшихся волками *"шавок"*), таков Ницше - ловец юных душ, дурманивший их суровым солдатским лиризмом в функции наркоза ампутации изорванных в клочья *"фронтных"* тел, - катехизис-устав унтер-офицеров, которые вдруг довольно закивали головами, услышав, что жизнь, ну да, - это воля к власти. И еще раз: *"Беззаботными, насмешливыми, сильными - такими хочет нас мудрость: она - женщина и любит всегда только воина"*. Так говорил Заратустра. Психиатры по-своему оценили *mania grandiosa* отставного профессора классической филологии, уверявшего, что он *"достаточно силен, чтобы расколоть историю человечества на два куска"* (А. Стриндбергу от 7.12.1888. Br, 8, 509). Два с лишним десятилетия спустя, в раскатах мировой войны, когда история действительно раскололась надвое, неправоту психиатров и, значит, правоту *"пациента"* засвидетельствовали ... политики и

<sup>39</sup> R. Huch, Luthers Glaube. Briefe an einen Freund. Leipzig, 1920. S.44.

<sup>40</sup> А.Белый, Петербург, Л., 1981, с.85.



государственные мужи. Есть от чего содрогнуться, читая в английской "Spectator" следующее признание лорда Кромера: "Одна из причин, вынудивших нас принять участие в этой войне, заключается в том, что мы должны защитить мир, прогресс и культуру от того, чтобы они не пали жертвой философии Ницше". Заметим: это пишет не какой-нибудь апокалиптик-фельетонист, а крупнейший колониальный политик XIX века, генеральный консул и диктатор Египта с 1883 по 1907 год. И еще одно аналогичное свидетельство, снова из уст влиятельного государственного мужа, лорда Роберта Сесия: "Миссия Антанты - заменить "волю к власти", это дьявольское учение немца, "волей к миру"<sup>41</sup>. "Миссия Антанты" - так и сказано. Ясное дело, что когда этой миссии пришлось противопоставить другую миссию - "стальные ураганы" нордической воли, обрушивающиеся на Pax Britannica, "дьявольское учение немца" уже и на самом деле оборачивалось тем, что приписывали ему дальновидные мужи Антанты. Вот заключительные пассажи книги "Ницше, философ и политик", принадлежащей перу Альфреда Боймлера, философа ex officio: "Он и знать не хотел о государстве как нравственном организме в смысле Гегеля, но ему была столь же чужда маленькая христианская Германия Бисмарка. Взору его снова предстала исконная задача нашей расы: быть вождем Европы. Немецкая политика в будущем немыслима без элемента Гёльдерлина и Ницше: будущее Европы зависит от юношества Германии. Сколь верно ощутили наши враги во время мировой войны германское начало в Ницше! Они видели в его творении покушение на "христианскую культуру", т. е. на испытанную связь Евангелия и гешефта... Непримируемый враг западной цивилизации, объявившей нам в 1914 году войну, - вот кто такой Ницше... Только нордическая Германия, Германия Гёльдерлина и Ницше, может быть творцом Европы... Не к ряду Бисмарка принадлежит Ницше, он принадлежит к эпохе Великой Войны. Немецкое государство будущего не будет продолжением творения Бисмарка, оно будет сотворено из духа Ницше и духа Великой Войны"<sup>42</sup>. Staatsphilosophie - государственная философия в виде набранного готическим шрифтом Собрания сочинений Фридриха Ницше: достойный подарок, поднесенный германским фюрером к последнему дню рождения итальянского дуче; мог ли одинокий провидец из Сильс-Мария предвидеть такой оборот в своих посмертных судьбах! На сей раз брань сливалась в повсеместный унисон голосов: бранили справа и слева, сверху и снизу, с Запада и с Востока, либералы и консерваторы, марксисты и антимарксисты, христиане и атеисты, профессиональные философы и философствующие литераторы, богословы и гешефтмахеры - как будто мощные катки различных идеологий прошли по этой мысли, хороня ее под основательными кладками общеобязательных стереотипов: "иррационалист", "человеконенавистник", "логофоб", и уже в безудержном азарте: "фашист"<sup>43</sup>

Теперь, кажется, в преддверии нового столетия и в смутно ощущаемой тревоге конца она пробивается сквозь тысячекратно утоптанную прокатку, совсем как трава в начале «Воскресения».

## 2. Житие Родиона Раскольников. (Немецкий вариант)

"Я обменял бы счастье всего Запада на русский лад быть печальным" (KSA 13, 535). Приходилось, оставаясь во всех смыслах несчастным, быть печальным на западный лад. История Фридриха Ницше - то, что принято в таких случаях называть "жизнью и учением", - предстаёт в ретроспективе столетия удивительной притчей, где рассказчиком выступила сама судьба - не столько личная судьба, сколько разыгранная лично судьба целой эпохи, а героем - живой человек, пасторский сын и воспитанник знаменитой Шульпфорты, которому и в голову не приходило осознавать себя невольником очень диковинного жанра и вымысла, еще кое-как терпимого в литературе и уже никак не уместяющегося в жизни. Жизнь протекала иначе и в ином измерении: ровная, безбурная, викториански-самоуверенная жизнь второй половины XIX века, безнадежно

<sup>41</sup> Обе цитаты из кн.: E. Bertram, Nietzsche. Versuch einer Mythologie. Bonn, 1985. S. 375.

<sup>42</sup> В. А. Ваумлер, Nietzsche, der Philosoph und Politiker, Leipzig, 1931, S. 181-182, 183.

<sup>43</sup> (См. Четвёртое дополнение).

объясненная учебниками Спенсера, Милля и Дрепера и, казалось бы, вполне довольная этой своей объясненностью. Можно было морщиться и пожимать плечами, наталкиваясь время от времени на непопятные гримасы и ужимки мысли; еще доживал в Германии свои последние дни чудящий старик Шопенгауэр, сочинения которого десятилетиями шли на макулатуру, и уже чудил в Норвегии странный, изводящий душу Генрик Ибсен, которого критик-соотечественник в сердцах посоветовал "*высечь розгами*", да ворожил в России изумительный Гоголь, проклятый и слева и справа, и порокатывал уже раздражающим однодумьем неуживчивый яснополянский граф под смешки московских адвокатов, а с другого конца сверлил душу вещим бредом несостоявшийся висельник и основоположник отечественной демонологии Достоевский - всего лишь "*жестокий талант*", в оценке современников (Н. Михайловский): все это регистрировалось еще по ведомству «*литературы*», стало быть, с обязательной прививкой против действительности. Судьба сымпровизировала не без эффектного трюка. Известный критик, оценивая "Преступление и наказание", решился на такой остроумный пассаж: "Счастливым народ беллетристы! Когда нашему брату, ученому человеку, приходит в голову дикая мысль, мы не можем сделать из нее никакого употребления. Нельзя даже признаться, что она побывала у тебя в голове! Беллетрист же - дело иное: ему всякая дичь годится. Вложит ее "в уста" действующего лица и прав: никто ничего возразить не может"<sup>44</sup>. Так вот, когда это писалось по поводу вымышленного действующего лица, можно было уже встретиться и с реальным; измененными оказывались место действия, декорации и частности режиссуры; драма по существу разыгрывалась та же - в романе и наяву. Студент, слоняющийся по трактирам и сопровождаемый подозрительными взглядами дворников, никак не вписывался в немецкую топику. Здесь он вполне тянул на "*профессуру*". И что коварнее всего: "*дикая мысль*", в наличии которой "*наш брат, ученый человек*" не смеет даже признаться, на сей раз не просто побывала в голове, но и *стала* головой - всем-что-ни-есть - как раз ученого. И какого ученого! Ричль: "Если ему суждено долго прожить - дай ему Бог этого! - я предсказываю, что однажды он займет ведущее место в немецкой филологии"<sup>45</sup>. Прожил он совсем недолго (44 года сознательной жизни и еще 11-бессознательной) и в немецкой филологии занял место изгоя. Поскупилась на место и немецкая действительность, не подыскав ему никакого Порфирия Петровича, хотя, в отличие от своего русского подельника, он годами навывлет вопил о своем преступлении и с таким же надрывом накликал себе наказание; с ним просто не считались, как не считаются с бредом, чудачеством, абракадаброй и... судьбой.

Реминисценция русской жизни лишь однажды с необыкновенной силой вспыхнула в этой душе - в загадочной главе "О бледном преступнике" из книги "Так говорил Заратустра": "Вы не хотите убивать, вы, судьи и жертвоприносители, пока животное не наклонит головы? Взгляните, бедный преступник склонил голову, из его глаз говорит великое презрение... Нет спасения для того, кто так страдает от себя самого, - кроме быстрой смерти.

Ваше убийство, судьи, должно быть жалостью, а не мщением. И убивая, блюдите, чтобы сами вы оправдывали жизнь!..

И ты, красный судья, если бы ты громко сказал все, что ты свершил уже в мыслях, каждый закричал бы: "Прочь эту скверну и этого ядовитого червя!".

Но одно - мысль, другое - дело, третье - образ дела. Между ними не вращается колесо причинности.

Образ сделал этого бледного человека бледным. На высоте своего дела был он, когда он совершал его: но он не вынес его образа, когда оно свершилось.

---

<sup>44</sup> Цит. По кн: Л. Шестов, Великие кануны. Собр. соч. СПб., б.г., т. 6, с. 100.

<sup>45</sup> J. Stroux, op. cit. S. 32.

Всегда смотрел он на себя, как на свершителя одного свершения. Безумием называю я это: исключение обернулось ему сущностью его.

Черта околдовывает курицу; чертовщина, которой он отдался, околдовывает его бедный разум - безумием после дела называю я это.

Слушайте вы, судьи! Другое безумие существует еще: это безумие перед делом. Ах, вы вползли недостаточно глубоко в эту душу!

Так говорит красный судья: "но ради чего убил этот преступник? Он хотел ограбить".

Я же говорю вам: душа его хотела крови, а не грабежа: он жаждал счастья ножа!

Но его бедный разум не понял этого безумия и убедил его. "Что толку в крови! - говорит он, - не хочешь ли ты, по крайней мере, совершить при этом грабеж? Отомстить?"

И послушался он своего бедного разума: как свинец легла на него его речь, - и вот, убивая, он ограбил. Он не хотел стыдиться своего безумия.

И теперь опять свинец его вины лежит на нем, и опять его бедный разум стал таким затекшим, таким расслабленным, таким тяжелым.

Если бы только он мог потряхнуть головою, его бремя скатилось бы вниз: но кто потряхнет эту голову?.." (KSA 4, 45-46).

Ну да же: *кто потряхнет эту голову?* Загадочный отрывок, выкрикнутый в пустоту холодным февральским днем 1883 года, отрывок, рассчитанный, должно быть, на единственные уши, на единственного человека, вот уже два года как умершего и тогда еще вовсе не знакомого, - автора "Преступления и наказания": "единственного психолога - это будет сказано со всей определенностью, - у которого я мог кое-чему научиться" (KSA 6, 147). Чему же? Мы запомним эту ключевую фразу: *одно - мысль, другое - дело, третье - образ дела*. И вспомним ее действительность в романе. Мысль Родиона Раскольникова: *"Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший... и собственно на людей... Второй разряд, все преступают закон..."* Так, в общем. Конкретно: *"... настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры..."* Еще конкретнее: *"Старушонка вздор!.. Я не человека убил, я принцип убил!.. И неужели ты думаешь, что я как дурак пошел очертя голову? Я пошел как умник... Мне другое надо было узнать... вошь ли я, как все, или человек?"* "Теперь дело. "Не для того, чтобы матери помочь, я убил - вздор!.. Я просто убил; для себя убил, для себя одного ("Я же говорю вам: душа его хотела крови, а не грабежа: он жаждал счастья ножа!")... И не деньги, главное, нужны мне были.. " И вот же наконец образ. *"Но ведь убил! - Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел? Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел. Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку!.. Довольно, довольно, Соня, довольно! Оставь меня..."* - И отзвуком выкрик несчастной девушки, выкрик, прободающий уже "беллетристическую" оболочку романа и вылетающий в жизнь, адресуясь - чудеса! - полуслепому, полуживому, неузнанному, ищущему "издателей", какое там! "автора" бывшему студенту, бывшему профессору, бывшей красе и гордости академической учености, а ныне... "бледному преступнику", поэтапно проходящему звенья все той же мысли, все того же дела, все того же образа дела и задыхающемуся от собственной невыносимости, - выкрик Сони: *"Этакую-то муку нести! Да ведь целую жизнь, целую жизнь!.. "* Жизнь эта и это учение впоследствии будут

тысячекратно описаны; еще придется диковинному русскому прообразу стать в лице своего немецкого двойника "*классиком* - как-никак! - "*философий*", где бежавший от филологии в страхе оказаться ее "*классиком*" дезертир обиднейшим образом налетит на капкан философской классики, чтобы, разгромив мораль, убив Бога, дав санкцию вседозволенности и распяв себя на кресте сумасшествия, отделаться каламбуром в... очередной диссертации.

Нам придется вживаться в эту историю, в линии совсем иной притчи, уже оглашенной, - притчи о *мысли, деле и образе дела*. Молодой базельский «*профессор*» по-своему даже перегибал фантастическую затею петербургского студента: он шел на дело не просто "*как умник*, а как «*профессионал*», во всеоружии наук, искусств и методов познания - между прочим и как "*филолог*"; предприятие требовало решительной мобилизации всех "*мозгов и составов*", ибо задача сводилась ни больше ни меньше как к "*переоценке всех ценностей*". Нужно было слишком пристально и пристрастно вчитываться в *контекст* филологических штудий одареннейшего юноши, чтобы уловить за внешне ровным биением мысли странную аритмию какого-то созревания и готовность ко всякого рода искушениям. В том, что студент третьего семестра филологического факультета мог увлечься сочинениями покойного философа Шопенгауэра, не было ничего необычного, хотя университетским наставникам это вряд ли приносило особое удовольствие. Необычным и тревожным оказывалось другое: *страсть*, с которой поглощались эти сочинения - отвлеченные идеи, воспринимаемые с таким учащенным пульсом, как если бы речь шла об эротических или авантюристических романах. Кто постигнет эту вечную загадку души, способной задыхаться от восторга там, где привычная норма сочла бы уместным только профессиональное усвоение! Шопенгауэр - впоследствии и он не избежит террора, объявленного своим бывшим обожателем культуре тысячелетий, - стал не чтением, а *жалом*, как еще раз *жалом*, а не слушанием стал Рихард Вагнер, второй и уже роковой искуситель этой отроду склонной к рискованнейшему канатоходству души. Скандал пока назревал в границах только филологии; такая яростная увлеченность, почти что одержимость двумя все еще культурно не ратифицированными гениями едва ли могла ужиться с нормами филологического ремесла, тем более в перспективе "*ведущего места*". Вполне естественно, что книга "Рождение трагедии из духа музыки" (1872), касающаяся одной из наиболее характерных тем классической филологии, должна была быть встречена в штыки как раз коллегами. "Просто удивительно, - писал о своем любимце Ричль, - каким образом в нем уживаются две души... Ибо едва ли будет преувеличением сказать, что он и его - находящиеся всецело под его магическим влиянием - соадепты, Роде и Ромундт, в сущности помышляют основать новую религию" (KSA 15,46). На редкость единодушная реакция: "Я узнал даже, что один студент, собиравшийся изучать здесь филологию, задержался в Бонне и в порыве счастья написал родным, что он благодарит Бога за то, что не учится в университете, где преподаю я" (Э. Роде в ноябре 1872 года. Вр. 4,85). Словом, "дела обстоят таким образом, словно я совершил преступление..." (Э.Роде от 25.10. 1872 Вр., 4, 71). Суцая правда, хотя ни ему, ни разъяренному факультету, по-видимому, и в голову не приходило, что это было за преступление! Невыносимым выглядел экстерьер книги, этот язвительно передразненный Ричлем "*фантастически чрезмерный, сверхостроумно перекувыркивающийся в непонятное вагнеро-шопенгауэровский искусство-мистерие-религие-фанатизм*" (KSA 15.46). Ничего себе филолог, втягивающий за уши строго филологическую проблему в безответственные капризы шопенгауэровской философии, мало того, опирающийся не на тексты древних, а на их *переживания* (кошмар!), хуже того, интерпретирующий эти переживания на современный лад и провозглашающий вагнеровскую музыку наследницей греческой трагедии, - оснований для бойкота, как видим, было предостаточно, но, странным образом, больше всего досталось автору за то, что представляло собою наиболее невинный аспект его мысли. Филология служила здесь предлогом, возможно, обманым маневром, отвлекающим внимание от чего-то гораздо более существенного; внимание было привлечено бурей в стакане воды - Вагнером и Шопенгауэром в филологической аудитории, говоря обобщенно, жизнью, вторгшейся в паноптикум восковой учености, которой нечего было делать с жизнью за ее ненаучностью; *реальная буря*,

запрограммированная этой плохо прочитанной книгой, тем временем оставалась незамеченной. "Рождение трагедии из духа музыки" - читатель, должно быть, припомнит статейку Раскольникова, с которой и начал расследование дела въедливый Порфирий Петрович. Ну, так вот, на эту книгу такового не нашлось; каждый видел в ней ровно столько, сколько хотел видеть: филологи - совершенную чушь, Вагнер - рекламу в пользу Байрейта ("Говоря со всей строгостью, Вы, после моей жены, единственный выигрыш, выпавший мне в жизни"); когда впоследствии, уже стоя одной ногой в безумии, автор охарактеризует книгу "Сумерки идолов" как "радикальную до преступления" (Г.Брандесу от 20,10. 1888. Br., 8, 457), это покажется признанием *ex post facto*, по существу полным раскрытием карт и *va-banque* страшной игры, начатой еще в "Рождении трагедии", о чем однозначно будет сказано в той же поздней книге; "... тут я снова соприкасаюсь с тем пунктом, из которого некогда вышел - "Рождение трагедии" было моей первой переоценкой всех ценностей..." (KSA 6,160.).

Кричащий намек, опять же из исповедимой перспективы 1887 года: "Что нужно было пережить, чтобы в 26 лет смочь написать "Рождение трагедии"! (KSA 12,227). Если последовательно снимать с книги камуфлирующие ее (как выяснится) пласты - филологический, эстетический, героический, мистический, словом, шопенгауэровско-вагнеровский, - то нетрудно будет дочитать до "*пункта*", из которого в скором времени выйдет "все", глазами уже не столько исследователя, сколько следователя; припомним снова; "... *Ужасно люблю вообще, то есть, как любитель, эту первую, юную, горячую пробу пера. Дым, туман, струна звенит в тумане... Статьюку вашу я прочел, да и отложил, и... как отложил ее тогда, да и подумал: "Ну, с этим человеком так не пройдет!*" ("Преступление и наказание"). Молодому автору пришлось в поисках почвы обратиться к глубокой древности, к досократической Греции трагической эпохи, чтобы, обрета искомый предлог, вынырнуть в современность и подвергнуть разрушительной ревизии все ее основополагающие ценности. Скажем так: искомой здесь оказывалась сама *жизнь*, самоданность жизни, - жизнь в элементе непосредственности и естества, стало быть, не изгаженная еще посредственностью неисчислимых идеологий и мировоззрительных прививок; эту жизнь, непостижимо сочетающую в себе радость становления с радостью уничтожения, жизнь, только и равную своему избытку и сливающуюся этим избытком в самую смерть, он окрестил ("как филолог и человек слов" KSA 1,19.) именем *Диониса*, одного из наиболее ужасных и загадочных греческих Богов. Изумление начиналось с феномена греческой трагедии, порожденной именно этим избытком жизни: самая сильная, самая жизнерадостная порода людей нуждалась в пессимизме и безумии, в боли и страдании. Патология темы требовала патологического объяснения: трагедия представляла в этом объяснении как *невроз здоровья*, как свирепые припадки народной молодости, цветущего тела, бьющей через край силы; избыток жизненности грозил смертельным исходом, массовым психозом, коллективным самоубийством, ибо жизнь, противопоставленная поздними идеологами смерти, была на деле лишь тепличным, одомашненным призраком той *настоящей* жизни, которая, захлебываясь от собственного избытка, ежемгновенно рисковала спутать себя со смертью. Греческая трагедия, греческое искусство вообще представляло в этом смысле защитной реакцией жизненного инстинкта против смертоносного шквала собственных излишеств - *катарсисом* в изначально медицинском значении рвотного средства от тошнотворной сверхэнергетики витального элемента или самоотравления жизнью вплоть до нежелания жить. Что же случилось после, с наступлением сократической эры? Трагедия была умерщвлена, и на смену ей пришли *иные* силы, преследовавшие, казалось бы, ту же цель, а на деле достигавшие диаметрально противоположного результата. Ибо трагедия разыгрывалась не в ущерб жизни, а в ее наивысшее подтверждение, будучи *единственным сообразным жизни строем мировоззрения*; напротив, убившая ее и занявшая ее место *рассудочность* с целым сонмом своих производных функций, от научности до морали, могла означать лишь одно: обуздание, приручение, укрощение, в итоге - денатурализацию, фальсификацию, кастрацию жизненного начала, где сама жизнь выступала отныне в смиренной рубашке разума, добродетели и всякого рода идеалов. Поистине "*юная, горячая проба пера*", чреватая всеми

непредвиденностями! Ей бы хоть чуточку научной отчужденности, хоть толики профессорской «хаты с краю», по принципу; так, мол, объективно выглядит картина, ну а я тут ни при чем. Так нет же, тут если кто и оказывался "при чем", то в первую голову этот 26-летний профессор филологии - то ли Дон-Кихот с опущенным забралом, то ли д'Артаньян, уже и на гасконской кляче видящий себя маршалом Франции, во всяком случае начитавшийся своего Шопенгауэра и наслушавшийся своего Вагнера сумасброд, перелетающий вдруг из VI греческого века в коней европейского XIX, чтобы позабавить образованную публику такой вот дифирамбической каденцией: "Да, друзья мои, уверуйте вместе со мной в дионисическую жизнь и в возрождение трагедии. Время сократического человека миновало: возложите на себя венки из плюща, возьмите тирсы в руки ваши и не удивляйтесь, если тигр и пантера, ласкаясь, прильнут к вашим коленам. Имейте только мужество стать теперь трагическими людьми: ибо вас ждет искупление. Вам предстоит сопровождать торжественное шествие Диониса из Индии в Грецию! Готовьтесь к жестокому бою, но верьте в чудеса вашего Бога" ("Рождение трагедии". KSA 1, 132).

Он и в самом деле - готовился. К бою против тирании и лжи тысячелетий. Надо представить себе воспитаннейшего молодого человека с почти женской мягкостью характера и изысканными манерами, к тому же неизлечимо страдающего болезнью глаз и желудка, чтобы раз и навсегда ощутить невероятность ситуации. Увидеть двух с половиной тысячелетнюю историю европейской духовности как «преступление против жизни» и взять сторону жизни - эта задача оказывалась нечеловеческой во всех смыслах, и не удивительно, что первая формулировка ее в "Рождении трагедии" должна была облечься в романтическую форму, все еще сообразно возрасту автора и отсутствию иной формы для такого содержания. Прибавьте сюда еще и то, что реальной ставкой книги был Рихард Вагнер, - тяжесть задачи в каком-то смысле ложилась именно на плечи Вагнера, при котором молодой адепт мог чувствовать себя в роли мистического провозвестника. Отрезвление обернулось шоком. Выяснилось, что маэстро намерен решать задачу не где-нибудь, а на театральных подмостках, и что конечным пунктом торжественного шествия Диониса является Байрейт<sup>46</sup>. "Рождение трагедии" в этом смысле расценивалось всего лишь как удачная афиша в целях ... кассового сбора. Выяснилось также, что с отрезвлением испарилась лишь романтическая форма, сама же задача оставалась по-прежнему единственной и реальной. Будущие биографы назовут это шоковое переживание переходом от первой, романтико-героической стадии ко второй, скепτικο-реалистической. Возмущаться на сей раз приходилось не только коллегам-филологам, но и братьям "в Вагнере"; книга "Человеческое, слишком человеческое" с вызывающим посвящением Вольтеру и "фигой под нос" всем прежним святыням и идеалам окончательно спутывала карты. Задача приобретала более отчетливые контуры: едва не оставшись самому в дураках у романтического порыва, надо было спешно дурачить публику фокусами мировоззренческих перевоплощений, т.е. становиться *движущейся мишенью*, всякий раз морочащей прицеливающийся глаз опережающим выстрелом по цели. Пусть только попробуют прицелиться в *романтика*; он обернется *позитивистом* до того, как успеют опомниться. Но *ипозитивист*, буде ему вздумается принять себя всерьез, получит вдруг такую славную затрещину от *кого-то третьего*, что надолго потеряет охоту к философствованию. Словом, не философия, а какой-то кулачный бой различных мировоззрений без права на чемпионство; сущий бред для всякого рода классификаторов, гораздых в навешивании ярлыков: вот этот вот «идеалист», а вон тот - "дарвинист"; этот - "верит в Бога": а тот - "не верит". Поди-ка разберись в этом тасовании ярлыков, где каждый ярлык может при случае стать «*козырем*» и где все ярлыки в конце концов выглядят битой картой. Что это: "цинизм", "скептицизм", «эkleктизм»? Пустые, ничего не выражающие слова там, где мысль стала танцем, а танец - критерием подлинности мысли (KSA 10,65). Поистине, он шел на дело как умник, обеспечивая себе, во-первых, *инкоgnито*, во-вторых, *-алиби*, в-третьих, *-твердость духа*, в-четвертых, в-пятых, в-десятых, *-безнаказанность*. Ибо возродить трагедию и жизнь оказывалось по плечу только

---

<sup>46</sup> (См. Пятое дополнение)

«сверхчеловеку», а это означало: перейти, переступить грань, отделяющую дозволенное от недозволенного, моральное "не должен" от свободного "хочу". "Штука в том: я задал себе... вопрос: что, если бы, например, на моем месте случился Наполеон..." ("Преступление и наказание"). Афоризм 125 "Веселой науки" воспроизводит как раз этот случай: "Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: "Я ищу Бога! Я ищу Бога!"... Все вокруг смеялись и острили. Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом: "Где Бог? - воскликнул он, - я хочу сказать вам это. Мы его убили - вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы это сделали? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть всю краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы, словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и сильнее ночь? Не приходится ли среди бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребаящих Бога?..." (KSA 3,480-481). Случай воспроизведен еще раз в книге о Заратустре: в главе "Самый безобразный человек". "Здесь... увидел он перед собою что-то сидевшее на краю дороги, по виду напоминавшее человека... нечто невыразимое. И мгновенно охватил Заратустру великий стыд, что пришлось ему своими глазами увидеть нечто подобное... Вдруг мертвая пустыня огласилась шипевшими и хрипевшими звуками... "Заратустра! Заратустра! Разгадай загадку мою!.. Скажи, кто я!" - Но когда Заратустра услышал слова эти ... вдруг упал он ниц, как дуб, долго сопротивлявшийся многим дровосекам, тяжело, внезапно, пугая даже тех, кто хотел срубить его. Но вот он снова поднялся с земли, и лицо его сделалось суровым. "Я отлично узнаю тебя, - сказал он голосом, звучавшим, как медь: - ты убийца Бога!" (KSA 4,328).

Ужас Родиона Раскольникова - все оставалось по-прежнему - ледяной оторопью докатывался до швейцарских Альп и итальянской Ривьеры, где все так же продолжало оставаться по-прежнему. Амстердамская выставка, карликовые склоны партикулярной политики, открытие Сен-Готардского туннеля, извержение вулкана Кракатау между Явой и Суматрой, начало деятельности русской охраны... и все тот же утренний табльдот с неизменно вежливым "sono contento". Невыносимая невесомость души, зажатой между бесконечными отныне «*черт возьми!*» и «*Боже мой!*»! "Не будем говорить об этом! Друг, об этом мы не вправе даже молчать" (KSA 10,57). Настоящая пытка вкуса, рассчитанного на романтический образ "*Князя Тьмы*" и наталкивающегося на «*черта, воплощенного в семипудовую купчиху*»; сказать об этом как-то позволил себе В.В.Розанов в отрывке из "Опавших листьев" с прямым указателем "философия Ницше"; отрывок, безобразный во всех отношениях, но самим безобразием своим попадающий не в бровь, а в оба глаза: "Да, я коварен как Цезарь Борджиа; и про друзей своих черт знает что говорю. Люблю эту черную измену, в которой блестят глаза демонов. Но ужасно неприятно, что моя квартирная хозяйка распространяет по лестнице сплетню, будто я живу с горничной, - и дворники "так запанибрата" смотрят на меня, как будто я уже и не барин"<sup>47</sup>. Придется, конечно, списать "*горничную*" и "*дворников*" в издержки розановской оптики, но вот более чем вероятный вскрик из уст самого виновника: "Юмор моего положения в том, что меня будут путать - с бывшим базельским профессором, господином доктором Фридрихом Ницше. Черта с два! Что мне до этого господина!" (М.фон Мейзенбург от 26. 3. 1885 Вр, 7, 30). То есть именно: "*барина*" будут принимать по привычке все еще за "*профессора*". Я не знаю, до каких еще аппетитных подробностей мог бы глядеться этот род подгляда, но что и увиденного вполне достаточно, чтобы понять всего позднего и уже последнего Ницше, представляется мне очевидным. Процитированные отрывки из "Веселой науки" и "Заратустры" приходятся как раз на тот промежуток времени (1882-1885), в котором формируется и с которого начинается так называемый "*третий*" Ницше. Уже и беглого взгляда хватает, чтобы зафиксировать кричащий метаморфоз стиля, разделенного обоими

---

<sup>47</sup> В. В. Розанов, Избранное, Мюнхен, 1970, с. 138

периодами. Стиль прежних сочинений, от "Рождения трагедии" до "Веселой науки" (собственно первых четырех книг ее, ибо пятая будет приписываться уже из "*после*") все еще ровный, умеренный и "*пристойный*", несмотря на полемическую ярость и отдельные проколы как бы в кредит будущего; но обратим теперь внимание на стиль поздних сочинений (начиная все с той же пятой книги "Веселой науки") - я перечисляю: "По ту сторону добра и зла", "Генеалогия морали", "Казус Вагнер", "Сумерки идолов", "Антихрист", "Ессе Номо". Нет надобности читать их постранично, чтобы осознать случившееся; достаточно уже открыть любое из них на любой странице. Я отвлекаюсь от слепящего блеска, мастерства, чуждодействия, магии языковой сатурналии, позволившей автору сказать, и с полным правом, что "*так сегодня не пишет никто в Германии*" (П.Дейссену от 14.9. 1888. Br., 8,426); меня единственно интересует здесь катастрофическая *невменяемость языка*, от которой в ужасе отшатывались и будут еще отшатываться благопристойные читатели всех стран. Соберитесь с духом и вчитайтесь в этот язык разом включенных и бесперебойно гудящих всех аварийных сигналов. Настоящая *бессонница языка*, казалось бы, по-макбетовски «*зарезавшего сон*» и уже обреченного на все страхи и ужасы бесконечной ночи; но если вам почудится вдруг, что так может говорить только профессиональный преступник, не спешите отделаться от этого предчувствия. Вы попадете в точку, как попал же в точку сам автор,, не без зловещего довольства окрестивший собственный стиль именем знаменитого парижского убийцы, нашумевший процесс над которым привлек в свое время его пристальнейшее внимание, - "*стиль Прадо*" (А.Стриндбергу от 8.12.1888. Br., 8, 509). Пусть вас не смущают после этого частности - абсолютная бесцеремонность в выборе выражений, адский фейерверк бранных слов ("*осел*", "*индюк*", "*кретин*", "*идиот*", "*корова*", "*тупица*", "*каналья*", "*старая дева*" - перечень нескончаем), адресованных зачастую не только знаменитым современникам, но и *personae gratae* прошлого - Карлейлю, Спенсеру, Миллю, Гюго, Ибсену, Ренану, но и Шиллеру, Канту, Данте, - какие там еще знаменитости для того, *кто... убил Бога!* Но вы не поймете ничего в этом языковом терроризме, если вознамеритесь отнести его в разряд субъективных капризов или чего-нибудь еще в этом роде. Вчитайтесь подольше, поглубже, позорче, и вы, должно *быть*, почувствуете, что смертоносный этот шквал выверен в каждом своем нюансе и что в нем нет места случайному и капризному. Ибо вещи, о которых он говорил, не могли быть выражены иначе; тогда бы это были просто другие вещи... Обратите еще внимание на саморазрушительность этого стиля-смертника; здесь нет никаких резервов и обеспеченности тыла - «*старая гвардия*» вводится в бой с первой же страницы, так как первой оказывается здесь уже каждая страница. И прибавьте еще жуткую, абсолютно монологичную, почти ритуальную мегаломанию собственного Я: исступленное противоборство между необходимостью оставаться "*инкогнито*" и нескончаемыми припадками самодонов, самооговоров, самозванств. Что же, как не эта невыносимая неузнанность, вынудило бывшего базельского профессора набросать черновики писем к Бисмарку и Вильгельму II в надежде добиться признания своей вселенской суверенности у этой ближайшей карликовой инстанции (последняя судорога защекоченного, укушенного в пальцы ног и не могущего мочиться великана). Сомнений быть не должно: такое могло бы надумать только перо Достоевского, и если его герой, подозреваемый уже едва ли не дворниками (о, извечная эстетика российского быта!), не стал писать писем Александру II и князю Горчакову, то оттого лишь, по-видимому, что поэтика судьбы зарезервировала эту напасть для немецкого варианта...

Остальное было молчание. Бледный преступник не вынес образа совершенного им дела и... признался в грабеже, как мотиве убийства. "Он не хотел стыдиться своего безумия". "*Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю... Он встал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз. "Ишь, нахлестался!" заметил подле него один парень. Раздался смех. "Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает", - прибавил какой-то пьяненький из мещан... Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольников, и слова "я убил",*



может быть готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем ("Преступление и наказание"). Он догадывался, что рано или поздно безумие это овладеет каждым, но мучительным оказывалось первенство и никем еще не виденная бездна. Впереди зияла страшная пустота, оскаливающаяся апокалиптическими видениями, и в эту пустоту он вошел, как на крест. В будущее проскользнула тень «грабителя», он же, изможденный и исстрадавшийся, повис на рубеже столетий распятым «разбойником», изведавшим на себе ад ближайших судеб человечества и успевший-таки услышать Голос: "Ныне же будешь со Мною в раю".

### 3. Испытание пустотой

Что - если отвлечься от личных судеб автора и поэтической формы выражения - означает провозвестие "смерти Бога"? Уж наверняка не довод в пользу атеизма, которого устроило бы скорее "отсутствие", чем "смерть". Невообразимый шум, возникший вокруг этого утверждения уже в первых десятилетиях нашего века, засвидетельствовал во всяком случае не только его сенсационность, но и своего рода исключительность и уникальность; гамма толкований простиралась от банальнейших констатаций «богохульства» до мистически вспученных глубокомысленностей в духе хайдеггеровской интерпретации<sup>48</sup>. Еще раз: приписывать возможность этой мысли только субъективным причудам "кошунника" Ницше, усматривать в ней не больше, чем метафорическую идиосинкразию философствующего поэта, было бы наиболее удобным и вместе наиболее нелепым родом толкования; мы должны будем допустить (допустив, что мы этого еще не пережили), что "субъективность" казуса Ницше никак не укладывается в наши расхожие и минимальные - в смысле выдержанности по части кандидатских "минимумов" - представления о «субъективном», благополучно противопоставленном какой-то незыблемой "объективности", доступ к которой - поздравим себя с этим! - открыт скорее "приборам", чем, с позволения сказать, "душе". Придется допустить, что в этом случае прибором оказывалась сама душа, причем прибором совершенно уникальным, и что только углубленной субъективностью и гарантировалось здесь качество объективности. Сказано более чем строго: "Крайне существенная разница, относится ли мыслитель к своим проблемам лично, видя в них свою судьбу, свою нужду и даже свое величайшее счастье, или "безлично": именно, умея лишь ощупывать их и схватывать щупальцами холодной, любопытной мысли. В последнем случае ничего не выходит, это уж можно обещать наверняка: ибо великие проблемы, если даже допустить, что они дают себя схватывать, не дают себя удерживать лягушкам и мямлям, таков уж их вкус от вечности, - вкус, который, впрочем, они разделяют со всеми добросовестными самками (KSA 3, 577-578). Имеющий уши, да слышит! Но даже и в этой максимальной норме случай самого Ницше отягчен своеобразной особенностью. Я позволю себе прибегнуть к неожиданной для философского слуха аналогии, в целях не только сокращения возможных описательных длиннот, но и более точной характеристики ситуации. Когда мы слышим от кого-то, что у него "свербит в пояснице" и что значит "это к дождю" мы вправе ждать подтверждения или опровержения этого кустарного прогноза от самого дождя, а не заведомо шельмовать его как "мистику", интеллигентно веруя в "бюро прогнозов". Так вот, эта атавистичная способность, присущая некоторым животным (надо будет обратить внимание на афоризм 316 "Веселой науки") и людям, присуща и некоторым философам, с тою, разумеется, разницей, что прогнозирует уже не поясница, а что-то другое, и прогнозируется не физическая погода, а историческая (хотя случай Ницше включал и то, и другое)<sup>49</sup>. Это следует иметь в виду: гностик явлен здесь в двояком ракурсе прогнозиста и диагностика; философия Ницше в этом смысле есть не очередная умозрительная конструкция, а буквально рассказ о ближайшем будущем<sup>50</sup>, рассказ, исступленная стилистика которого если чем

<sup>48</sup> См. его статью "Nietzschcs Wort 'Gott ist tot'" в книге "Holzwege" (Fr. a. M., 1950) и двухтомное сочинение "Nietzsche" (Pfullingen, 1961).

<sup>49</sup> Ср.: "Буря: я ощущаю её за 4 часа, при чистейшем месте. Стоит лишь ей начаться, как моё состояние улучшается» (KSA 9, 382-383).

<sup>50</sup> Так прямо и сказано: "То, что я рассказываю, есть история ближайших двух столетий" (KSA 13, 57).

и провоцируется, то не авторскими причудами, а - в кредит - иступленностью самого будущего. Тезис о "*смерти Бога*" и предстает той именно точкой, из которой мучительно радирует исконное *de te fabula narratur* (о тебе рассказ).

Что же означает эта столь эффективно возвещенная "*безумным человеком*" смерть? Нам нужно еще раз вернуться к "*Рождению трагедии*", чтобы проследить генезис этой мысли в самом Ницше. Вспомним: открытой оказалась жизнь в своих утраченных истоках, в бьющих через край экстазах дионисического бывания, так что дальнейший путь мог уже быть только путем освобождения, взысканием свободы, прорывом в некое "*по ту сторону*", в итоге тем, для чего он подобрал универсальную формулу: "*переоценка всех ценностей*". Повторим: *всех* ценностей. Конкретно: моральных, религиозных, художественных, научных, социальных, познавательных, поведенческих, просто бытовых - или, чтобы выразить сей длинный перечень одним ударом: *Бога*, как средоточия и смысла всех ценностей. Пасторский сын, сам названный в детстве "*маленьким пастором*", умевший, по свидетельству очевидцев, с таким воодушевлением читать отрывки из Священного Писания, что не обходилось без слез, он, несомненно, знал, о чем идет речь. "Ребенком я узрел Бога во всем блеске", так это будет означено в позднем отрывке из наследия (KSA 8,505). Случилась странная вещь: Бог, Творец жизни, выступил могущественнейшим противником жизни, более того, тираном, дарующим духовность не иначе, как ценою жизни, чтобы жизнь предстала отныне не громовым воплем восторга перед жизнью (карамазовское: "Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь"), а жалким призрачным суррогатом, поддерживаемым бесчисленными инъекциями и капельницами названных "*ценностей*". Нужно было выбирать, и выбор пал на жизнь (будем помнить: выбор человека, стоявшего с молодости одной ногой в могиле). Теперь предстояло *оживить* ее, и это значило: поразить "*тирана*". Путь к жизни вел через "*стояние в свободе*" (выражение апостола Павла), и именно об этой свободе шла речь.

Оговоримся: речь шла о *свободе-от*. От всех ценностей. От Бога. Есть какое-то коварное самоупоение в негативной стилистике самонаименований, мобилизуемой всякий раз, когда приходилось представляться: "*безбожник*", "*имморалист*", "*антихрист*", "*истребитель*". Нужно ли напоминать о том, чего ему это стоило в "*субъективном плане*". "Легко говорить об имморализме, - вырвалось однажды у этого вольнодумца, - но каково его вынести! Мне, например, невтерпёж уже одна мысль о нарушенном слове - не то чтоб об убийстве: я был бы обречён на длительное угасание и гибель"<sup>51</sup>. В приведенных словах запечатлен, пожалуй, наиболее, жуткий пласт эксперимента: непрекращающийся диссонанс между данностью и заданностью, тем, чем он был от природы, и тем, чем он назначил себе быть самовольно, - истреблять приходилось самое близкое, самое родное и любимое. Вот Сократ - "*чудовище*" и "*злбный рахитик*", подвергаемый беспощадному избиению, начиная с "*Рождения трагедии*", - должно ли нас удивлять, что в одной заметке из наследия тот же Сократ фигурирует как... родственная душа! Или злейшие нападки на христианскую религию (автор "*Антихриста*" мог бы сказать о себе еще раз словами Достоевского: "Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе... И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было") - удивит ли нас на их фоне следующий пассаж из частного письма: "Мне показалось, любезный друг, что постоянная внутренняя стычка с христианством в моей книге должна быть Вам чуждой и даже мучительной; и все-таки оно остается лучшим образцом идеальной жизни, которую я действительно знал; с детских лет следовал я ему повсюду, и, сдается мне, я никогда не погрешил против него в сердце моем. К тому же я ведь отпрыск целых поколений христианских священников - простите же мне эту тупость" (П.Гасту от 27.7. 1881. Вр., 6, 108-109). Или, наконец, отношение к Рихарду Вагнеру, сначала божеству, а потом "*гремучей змее*" и "*Калиостро современности*", - но вот же взрыв любви в самом разгаре брани: "Я называю Вагнера великим благодетелем моей жизни. Нас

---

<sup>51</sup> E.Forster-Nietzsche, op.cit. S.467

сближает то, что мы глубоко страдали, страдали также один за другого, страдали больше, чем люди этого столетия могли бы страдать, и наши имена всегда будут соединяться вместе; и как Вагнер, несомненно, является только недоразумением среди немцев, так и я, несомненно, останусь им навсегда" (KSA 6,290). Для этого - своего - недоразумения он снова подыскал необыкновенно точную формулу: "Вас назовут истребителями морали, но вы лишь открыватели самих себя" (KSA 10,212). Открывать самого себя только и могло означать здесь: освободиться от не самого себя, и путь этого освобождения - от "Несвоевременных размышлений" через оба тома "Человеческого, слишком человеческого" до "Утренней зари" и "Веселой науки" - был устлан бесчисленными жертвами: привычками, привязанностями, идеалами, ценностями, которые этот новый Геракл сдирал с себя, точно шкуру убитого Несса, вместе с собственной кожей.

"Я одержим независимостью, я жертвую всем - должно быть, оттого, что у меня зависимейшая душа и от едва ощутимых пут я мучаюсь больше, чем другие от цепей" (KSA 9,335). Понятно, что при такой одержимости попросту исключалась возможность уместиться в любого рода духовную табель о рангах; налицо оказывался самый что ни на есть оголтелый цинизм и скептицизм, возмущивший и оттолкнувший окружение. Тактика освобождения требовала абсолютной *непоседливости* мысли ("Только *выхоженные* мысли имеют ценность" KSA 6,64) и отсутствия какой-либо культурно-таксономической прописки. Образ мыслей полностью соответствовал в этом плане образу жизни: отказ от последовательно центристического письма в пользу центробежной техники афористического жаргона, позволяющего в мгновение ока оказываться там-где-нужно, нисколько не заботясь о логике перехода, сопровождался отказом от постоянного адреса и предпочтением скитальческой жизни. Европейскому читателю предстояло привыкнуть к сознательно поволенному *дискомфорту познания*, к головокружительным марш-броскам мысли, не приведенной ни к какой присяге и практикующей настоящий *духовный терроризм* под черным флагом пиратского самоопределения. Этот «*сорвиголова духа*» (KSA 3,352), тянувший было поначалу на снисходительную аналогию с Дон Кихотом, вполне тянул теперь на Робин Гуда - разумеется, без всякой социальной подоплеки, т.е. устраивающего на сей раз засады как «*богатым*» так и "*бедным*", причем первым в союзе с последними, а последним нередко в союзе с первыми, - безошибочная тактика, после которой едва ли уже кому-нибудь пришло бы в голову подогнать весельчака под какую-нибудь "*положительную*" рубрику, вроде: "*господин доктор Фридрих Ницше был идеалистом и стал материалистом* - тут ответ напрашивается из его уст (мы слышали уже): "*Черта с два!*" Оставались сплошные "*отрицательные*" рубрики, и с какого-то момента - характерно, что момент совпал по времени с провозвестием "*смерти Бога*" - "*господину доктору*" сподобилось, положила руку на сердце, с чувством полной ответственности заявить о себе: "Теперь я, по всей вероятности, *самый независимый человек в Европе*" (Ф.Овербеку от 30.4.1884. Вр., 6, 497).

"*Самый безобразный человек*", мог бы он добавить - и добавил: в памятной нам главе из "Заратустры". И уж конечно: "*самый опасный*". Надо послушать, в каких выражениях описывается этот суперлатив самосознания: "Я знаю свой жребий. Некогда с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то чудовищном, - о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести, о решении, предпринятом против всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали священным. Я не человек, я динамит... Моя истина ужасна: ибо до сих пор ложь называлась истиной... Мой жребий хочет, чтобы я был *первым приличным* человеком, чтобы я сознавал себя в противоречии с ложью тысячелетий... Я первый *открыл* истину через то, что я первый ощутил - *вынюхал* - ложь как ложь... Мой гений в моих ноздрях... Я противоречу, как никогда никто не противоречил, и несмотря на это я противоположность отрицающего духа. Я *благостный вестник*, какого никогда не было, я знаю задачи такой высоты, для которых до сих пор недоставало понятий; впервые с меня опять существуют надежды. При всем том я по необходимости и человек рока. Ибо, когда истина вступит в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут сотрясения, судороги землетрясения,

перемещение гор и долин, какие никогда не снились. Понятие «политика» совершенно растворится в духовной войне, все формы власти старого общества взлетят в воздух - они покоятся все на лжи: будут войны, каких еще никогда не было на земле. Только с меня начинается на земле «*большая политика*» (KSA 6, 365-366). Поразительно в этом отрывке отсутствие всякого ощущения черты, разделяющей личное и историческое, как если бы старый наказ: " Я хочу пережить всю историю собственной персоной" (KSA 9,666) стал вдруг до такой степени реальностью, что история уже и вовсе сжалась до «*собственной персоны*» прогнозирующего ее визионера. Можно отнести к этому по-разному - в конце концов именно тут полностью прекращается гипноз "*общеобязательного*" и начинается "*индивидуальное*» как таковое, - можно снисходительно пожать плечами или... замереть от какого-то предчувствия, но в любом случае придется посчитаться с этим по крайней мере в измерениях ницшевской судьбы. Точка совершенной независимости, достигнутая им, оказывалась, во-первых, проколом личной судьбы в зону судеб Европы и мира, во-вторых, абсолютной пустотой, принимающей обличия самых рискованных искушений, и, в-третьих, внезапно прорвавшимся даром Кассандры, с которым уже никак не мог совладать его носитель. "*Бог умер*" - это означало: рухнули все без исключения ценности, на которых стояла до сих пор культура. Чтобы представить себе глубину этого освобождения, достаточно уже сравнить его с опытом прежних вольнодумцев. Давайте подумаем: можно было, будучи свободным или стремящимся к свободе, жертвовать всем, даже жизнью, принимать мученическую смерть, всходить па костер... но *во имя чего?* Все равно, веры или истины, т.е. все еще непобежденной ценности, какого-то фантазмагорического "*вертится или не вертится*", этого модернизированного научного Молоха, требующего по инерции жертв. Кому из прежних вольнодумцев хватило бы мужества не подписаться под гордыми словами Фихте из четвертой лекции "О назначении ученого": "Я жрец истины; я у нее на содержании; я обязался служить ей во всем, рисковать для нее всем, претерпевать ради нее все". Иронический вопрос Ницше: "Положим, мы хотим истины, - *отчего же лучше не лжи? Сомнения? Даже неведения?*" (KAS 5,15)<sup>52</sup>. Еще один шаг, и в числе сокрушенных ценностей оказывается и сама истина. "Если я в чем-то являюсь разгадчиком загадок, то я хочу быть им в этом туре!.. Они еще далеко не «*свободные*» умы: *ибо сами верят еще в истину..*" (KSA 5,399). Как! вскрикнут здесь, быть может, наиболее отважные: ведь если нет ничего истинного, то что же из этого следует? Магически-страшное слово: "*все позволено*". "Сподобилось ли уже когда-нибудь какому-нибудь европейскому... вольнодумцу затеряться в этом пассаже и его лабиринтных последствиях! знаком ли ему *по опыту минотавр* этой пещеры?.." (KSA 5, 399). Очень своеобразный минотавр, имя которому Nihil, Ничто. "Нигилизм стоит за дверями: откуда приходит к нам этот наиболее жуткий из всех гостей?" (KSA 12,125). Откуда же ему прийти, как не из свободы-от-всего-что-ни-есть! "Скелет, ты дрожишь? Ты дрожал бы сильнее, если бы знал, куда я тебя веду" (KSA 3,573). Куда же еще, как не прямо, торжественно, триумфально - в состояние (слово найдено и здесь), "которого не достигал еще ни один утопист" (KSA 9,573), - в XX век!

"Будут войны, каких еще никогда не было на земле". Из перспективы 1888 года, в катастрофических темпах личной судьбы, можно было ошибиться в датах. "Клянусь Вам, - гласит одно из последних писем к Г.Брандесу, - что через два года земля будет содрогаться в конвульсиях" (Вг., 8, 482). Нигилизм, кабинетный в условиях XIX века, готовился к гигантскому эксперименту, полигон которого растягивался на весь XX век. Вслушаемся в эти разящие наповал констатации; речь идет в них уже о нашей судьбе: "NB Начинается эпоха варварства; науки будут поставлены ей на службу!" (KSA 9,395). И дальше: "Наступает время борьбы за господство над земным шаром - она будет вестись во имя *основных философских учений* (KSA 9,546). Еще и еще: "Возникает ... тип европейской китайщины с кроткой буддистско-христианской верой, а на практике смышенно-эпикурейский, каков и есть китаец - редуцированные люди" (KSA 11,72).

<sup>52</sup> Неудивительно, что именно Рудольф Штейнер, автор «Философии свободы», впервые и в полной мере оценил значимость этого последнего освобождения. См.: R.Steiner, Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit, op.cit., 1977, S.20-24.

"Европейская демократия лишь в минимальной степени есть раскрепощение сил; прежде всего она есть раскрепощение леностей, усталостей, слабостей" (KSA 11,476). "Я пишу для человеческой породы, отсутствующей покуда: для "господ Земли"... Англичане, американцы, русские..." (KSA 11,50). "Американцы... будущая мировая держава" (KSA 11,215). Но: "Мы нуждаемся в безусловном сближении с Россией и в новой общей программе, которая не допустит в России господства английских трафаретов. Никакого американского будущего!" (KSA 11,239). Общая панорама XX века – «*восхождение нигилизма*», воцарение Ничто, как следствие "величайшего события нового времени - *смерти Бога*" (KSA 3,573) и уже неизбежно следующей отсюда смерти человека, сотворившего себя по образу и подобию этого Бога. Как же тут было не мобилизовывать Антанту для спасения *"мира, прогресса и культуры"*<sup>53</sup>

Мы знаем: воцарившийся нигилизм жестоко отомстил бесстрашному диагностику, отомстил не столько помраченным сознанием, сколько помрачением этого сознания в нас самих. Нашим ответом Ницше стала клевета и ложь; нигилистическим взглядом окинули мы его и не увидели в нем ничего, кроме нигилизма. Но разве же не так во все времена наказывали только... провидцев!

Да, *"бледный преступник"* не выдержал *"счастья ножа"*. Да, обезумев от окружившей его изнутри и извне пустоты, он ужаснулся собственному освобождению и потянулся к привычному, *"человеческому, слишком человеческому"*, соглашаясь уже уговорить себя на какой угодно лад, даже *"грабительский"*, - лишь бы спастись от пустоты: "Здесь снег, здесь онемела жизнь, последние вороны, слышимые здесь, называются: "К чему?", "Напрасно!", "Nada!" (KSA 5,406). Мы же поспешно закивали головами: *"грабитель и есть"*, защищая все те же, давно уже музейные, списанные в реквизит парадных транспарантов, но все еще *"актуальные"*, все еще *"актуальные"* мир, прогресс и культуру. Но, в конце концов, может быть, в нашей пользе взглянуть на дело по-иному. Затребовать дело из рук зафилософствовавшихся унтер-офицеров и унтер-офицерствующих философов с целью его *пересмотра*. Нам ли на исходе XX века пугливо зажмуриваться на то, от чего по праву зажмуривалось прошлое столетие? Слова, что и говорить, и впрямь не из приятных: *"иммoralист"*, *"нигилист"*, *"сверхчеловек"*, - но разве приятнее на фоне всех наделанных нами после них дел разыгрывать из себя каких-то *"Коперфильдов"* и *"Неточек Незвановых"*, боясь потерять давно заложенную не впрок и позабытую невинность!

Да, вне всякого сомнения это - нигилизм. Но нигилизм особого рода, не стихийно присущий и не богемно смакуемый, а намеренный, вызванный, привитый, если угодно. Последнее сравнение, пожалуй, точнее и в духе самого Ницше: он даже придумал с этой целью специальный термин *"нигилин"*. Действительно, речь шла о добровольной прививке себе этого небывалого вируса: во-первых, чтобы освободиться самому от псевдоценностей и, во-вторых, чтобы на себе испытать действие болезни, эпидемически надвигающейся на европейскую культуру. То, что прививка эта оказалась губительной для самого экспериментатора - "О братья мои, кто первенец, тот приносится всегда в жертву" (KSA 4,250), - лишь подтвердило смертельную опасность вируса; но не видеть здесь ничего, кроме болезни, было бы умышленной или действительной (все равно) слепотой. Этому нигилизму мы вправе были бы сказать словами Фауста: "В твоём ничто я все найти надеюсь". Во-первых, если Ницше и именует себя сам нигилистом, то только в пику тому, что было названо им *"моральным тартюфством"* с обязательной прививкой на сей раз вируса *"моралина"* (еще один специальный термин). Во-вторых, черным по белому и сотни раз нигилизм характеризуется им как болезнь. В-третьих, историю этой болезни он сводит к тысячелетиям: смысл всех его работ о морали в том и заключается, что тысячелетняя беременность морали была беременностью именно нигилизмом и что наконец пришло время ужасного разрешения. В-четвертых, разрешившись сам от этого плода, он борется с ним еще до его разрешения в

---

<sup>53</sup> (См. Шестое дополнение)

историческом измерении. Смысл борьбы, безотносительно к частностям тактики самого Ницше, один: *воля к индивидуальному творчеству*. Говоря иначе: вместо прежнего тысячелетнего рабского «*ты должен*» новое господское «*я хочу*», ибо «*никому и ничего не должен*», но вот в этом-то «*хочу*» и сфокусирована вся проблема. Вопрос вопросов: чего именно могу я хотеть в этой точке пустоты? Варианты: 1. «*Ничего не хочу*», следует читать: «*Хочу ничего*», что абсурдно, так как «*ничто*» уже налицо и «*хотеть*» его - все равно что хотеть тьмы в непроглядную ночь. 2. «*Хочу, чего захочется*» - ассортимент безразмерный: от (прошу прощения) ковыряния в носу до, скажем, поджога Рима или выдвижения в сенат кандидатуры коня - короче, философия Ницше в «*босаяцком*» прочтении. Вариант тем не менее нелепый: тирания «*морали*» и «*разума*» заменена в нем тиранией «*инстинктов*», но лучше уж оставаться рабом разумного начала, не делая из этого никакого шума, чем становиться рабом начала животного, крича на всех перекрестках о своей свободе. 3. «*Хочу заново и сам сотворить все то, от чего сам и освободился*». В дидактическом пересказе Ницше: «Наносим ли мы, имморалисты, вред добродетели? - Так же мало, как анархисты царям. Только с тех пор, как их начали подстреливать, они вновь прочно сидят на своем троне. Мораль: *Нужно подстреливать мораль*» (KSA 13,454). К этому третьему - по существу, единственному варианту и сводится весь смысл его столь пугающего и столь изолганного учения о «*сверхчеловеке*».

Нужно ли еще говорить о том, что могло бы означать в этом контексте провозвестие «*смерти Бога*». Разве не знаменательно, что тезис этот был встречен в штыки как, разумеется, богословами, так и атеистами! И не удивительно ли, что самые адекватные эпиграфы ко всему творению Ницше как бы напрашиваются сами собой как раз из христианского Священного Писания; вдвойне удивительно, что больше всего из Посланий Павла, в слепой и неменяемой ярости заруганных автором «*Антихриста*». Да, да от «*все позволено*» (см.: 1 Кор. 6, 12, также 10, 23) до уже и вовсе ницшеанского: «*К свободе призваны вы, братия!*» (Гал., 5, 13). Как же быть с тем, что «*брат Фридрих*» понял это свое христианское призвание буквально и осуществил его на деле, сокрушая *-на деле-* ложные христианские кумиры и взыскуя *-в идеале-* подлинного освобожденного христианства! Если допустить, в конце концов, что и человечеству присущи свои возрасты, то покорность Богу, как Опекуну, уместна и справедлива разве что в младенчестве и отрочестве. Но наступает пора, когда свобода от «*опекунства*» оказывается единственным условием для получения аттестата духовной зрелости. «*Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре? Вы - верующие в меня: но что толку во всех верующих! Вы еще не искали себя, когда нашли меня, Так поступают все верующие; потому-то всякая вера так мало значит. Теперь я велю вам потерять меня и найти себя; и только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам*» (KSA 4,101). Заметим: это и есть «*предсмертное*» слово Бога, умирающего в стадной общеобязательности, чтобы возродиться в индивидуальном творчестве, - того самого Бога, которому всегда было милее упрямое топание ногой **Ломоносова**: «*Я и у Господа Бога в дураках числиться не желаю*», чем покорная вера не нашедших себя, да и не особенно уже усердствовавших в поиске, чад. Запомним это и поостережемся впредь доверяться только школьной логике в оценках того, что принято называть «*безбожием*», особенно когда в последнем оговаривают себя самые прекрасные и самые значительные экземпляры человеческого рода. «*Ничто, - говорит Поль Валери, - не демонстрирует столь наверняка могущество творца, как неверность и непокорность его творения. Чем более живым он делает его, тем более делает он его свободным. Даже его бунт восторгает автора: то ведает Бог...*»<sup>54</sup>

#### 4. Совратитель или воспитатель?

Ответим сразу же: конечно, совратитель. «*Тетушки Полли*» всей земли знали, что делали, пряча под семью замками книги этого «*вурдалака*» от своих ухоженных и лукавых племянников. Вообще

<sup>54</sup> P.Valery, Mon Faust, Gallimard, 1946, p.7.

XX век явил по этой части удивительные выверты идеологического плоскоумия. Нигилизм уже вовсю колесил по действительности, выделявая черт знает что, но знать об этом не полагалось; нужно было во что бы то ни стало делать невинную мину при развратной игре, тупо упираясь в то, что всякий конец должен непременно быть "*счастливым концом*". Жителям Содома и Гоморры рекомендовалось мнить себя подданными образцово "*правового государства*", и послушным "*содомитянам*" не оставалось ничего другого, как следовать заповеди о «*любви к ближнему*»... На этом фоне фокусы "дьявольского немца" внушали серьезную тревогу. Случай Ницше - оскорбление его величества "*большинства*" - мог означать лишь одно: адский диссонанс в самом разгаре презентации рая на земле.

Он в полной мере сознавал это сам и даже странным образом предугадал в некотором роде "*маршрут*" своего наказания. "Европе понадобится открыть еще одну Сибирь, чтобы сослать туда виновника этой затеи с переоценкой всех ценностей" (Г. Брандесу от 13. 9. 1888. Вр., 8, 420). Либеральный конец XIX века обеспечил его пенсией и возможностью издавать за свой счет собственные книги; богемный покуда нигилизм с богемной щедростью отнесся к безумному человеку, зажегшему среди бела дня фонарь, чтобы настичь бродящий по Европе призрак нигилизма. Государственный нигилизм XX века уже не шутил; переоценка всех ценностей оборачивалась государственным преступлением. Он еще раз предугадал и это; каким-то жутким предостережением и поведенческой инструкцией ворвался его крик в ближайшее будущее, адресуясь не рожденным еще родственным душам: "Друзья мои, нынче впору уже на четвереньках ползать в этом "государстве" и реветь как осел: надо внушать заразе, что ты осел, - единственное средство избежать вируса этого безумия" (KSA, 13, 112).

Да, совратитель - хуже того: провокатор, экстремист, террорист мысли. Давайте подумаем, что бы можно было еще прибавить к сказанному, и заведомо утешим себя сознанием, что все это так и есть на деле. Мысль, исповедующая комфорт, поклоняющаяся комфорту, жаждущая комфорта, - мысль, стоящая навтыжку перед начальственными идеалами "*мира, прогресса и культуры*" с дисциплинарной установкой "*не рассуждать*", - эта мысль никогда не в состоянии будет примириться с нарушителями ее благополучия. Обычным уголовным преступником предстанет ей Родион Раскольников и мироненавистником - Фридрих Ницше. Это мы должны понять прежде всего - прежде чем вознамеримся оценивать ницшевскую философию и определять ее место в культуре. Еще раз: совратитель и ненавистник - там, где разыгрывается ханжеский спектакль идеологических ангажементов; пока мысль не освободилась от опеки "*коллективного разума*" и "*общеобязательности*" и не зажила собственной непредсказуемой жизнью; пока мысль не отрезала себя от пуповины профессиональной условности и отчужденности и не восчувствовала себя реальной участницей драмы человеческого существования; пока мысль не очнулась от гипноза псевдообъективной бесстрастности и не стала мыслить "*на разрыв аорты*»; пока мысль не вспомнила своего первородства и не осознала, что смысл ее не в "*доказательствах*", а в "*музыкальности*", короче, пока мысль не постигла, что "*дело не в блуждающей почке, а в жизни и смерти*", - ей нечего делать с Ницше, все равно - спецхрановым или многотиражным. Или еще раз то же самое - словами самого Ницше: "Тот, кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, *здоровый воздух*. Надо быть созданным для него, иначе рискуешь простудиться. Лед вблизи, чудовищное одиночество - но как безмятежно покоятся все вещи в этом свете! как легко дышится! сколь многое чувствуешь *ниже* себя! - Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что до сих пор было гонимого моралью. Долгий опыт, приобретенный мною в этом странствовании по запретному, научил меня смотреть иначе, чем могло быть желательно, на причины, заставлявшие до сих пор морализировать и создавать идеалы... Всякое завоевание, всякий шаг вперед в познании вытекает из мужества и строгости к себе, из чистоплотности в отношении себя... Я не отвергаю идеалов, я только надеваю перед ними перчатки... Nitimur in vetitum (мы склонны к запретному): этим знаменем некогда

победит моя философия, ибо до сих пор основательно запрещалась только истина" (KSA 6, 258-259). Будем же помнить: Ницше - это то *исключение*, которое никогда и ни при каких обстоятельствах не может стать *правилом*; оттого и выглядит "*ницшеанство*" любого рода на фоне великого страстотерпца всего лишь жалким обезьянничанием и потугами "*морских свинок*" раздуться до "*бестии*". Он - неповторим и неподражаем: трагический воитель познания, настроивший свою мысль на режим радикализма и катастрофизма и додумавшийся-таки до сумасшествия и смерти. Он еще и еще раз неподражаем: в каждой клетке его мысли бьется все его существо, и подражать этой мысли при совершенной разности фактур личности и судьбы, значило бы глумиться прежде всего над собственной мыслью. Урок его прост и головокружителен: до того прост, что умещается в нескольких словах, и до того головокружителен, что может (должен!) стоять жизни. Я нахожу для этого урока совершенную формулировочную параллель: бессмертное двестишестидесятилетие Иоганнеса Шефлера, поэта-мистика XVII века, прозванного силезским ангелом: "Das Kreuz auf Golgatha kann dich nicht von dem Bosen, wo es nicht auch in dir aufgericht't, erlosen", т.е.: "*Крест на Голгофе не может спасти тебя от зла, если он не будет воздвигнут и в тебе самом*". Именно эту заповедь и решал всю жизнь - всей своей жизнью - Фридрих Ницше; необычными (словно есть и обычные) оказались лишь пути решения. Впрочем, и сама необычность в его случае предстала чересчур уж необычной. Случилось так, что юноша, занявший должность профессора классической филологии Базельского университета, был посвященным древних Мистерий, которому профессорская маска должна была жечь душу и лицо. Он и содрал с себя эту маску, предпочтя респектабельной карьере бездомность и бродяжничество, - одержимый отныне одною лишь страстью: найти свою "*старуху-процентщицу*" и... *осмелиться*. Несоответствие декораций - стиль бидермейер, декорирующий трагедию Эсхила, - заставило его симулировать маскировочную патологию, поначалу как защитный прием, а потом уже и вовсе сросшуюся с жизнью; внутренний крест воздвигался в сплошных обманных маневрах фокусничества и оборотистости: внезапно высунутый язык "*позитивист*" на фоне "*метафизико-героической*" мины; северная протестантская прямолинейность, подрываемая гримасами католическо-южной изворотливости; обморочные гибриды типа: Вагнер+Бизе, Лютер+Галиани, Дюрер+парижские romanciers; азарт непрерывных самооговоров - "*праведник*", корчащий из себя "*шута*" ("Может быть я и есмь шут..." KSA 6,365), "*целомудренник*" прикидывающийся таким "*бонвиваном*" ("Знаю я этих прелестных вакханок..." KSA 6,306), физически и уже душевно неизлечимо больной человек, морочащий врачей ("Один врач, долго лечивший меня, как нервнобольного, сказал наконец: "Нет! больны не ваши нервы, я сам болен нервами". KSA 6,265), мученик - нужно ли об этом говорить? - уже воздвигнувший в себе крест, уже распятый на нем и все еще брызжащий ядовитой слюной на Распятого... Словом, конечно же, совратитель, каких было мало на земле, - несущий свой крест, но разыгрывающий в лицах толпу и надрывающийся от крика: «*Распни Его!*» Все это, однако, - не будем забывать - принадлежит к частностям конкретного пути. Но если в сокровенных тайниках воспитательского искусства найдется место и совращению, как крайне рискованному и все же при случае незаменимому средству, то опыт Фридриха Ницше окажется просто бесценным. Ибо, как никто, он учит утверждать через отрицание, принимать через отказ, любить через ненависть. "Вы еще не искали себя, когда нашли меня..." Совращение вырастает здесь до подвижничества; он совращал, отвращая, - от безликости, стадности, серости, любого рода идолопоклонства к поиску самих себя, и если путь к себе - в разрезе как личных судеб, так и судеб всей культуры - лежал через нигилизм, то надо было пройти и это страшное испытание, чтобы числиться у Господа Бога уже не "*в дураках*", а - в *сотрудниках*<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> (См. Седьмое дополнение)



## ПЕРВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Появление книги было отмечено резкими нападками со стороны коллег-филологов; в документальном исследовании, изданном Карлфридом Грундером (*Der Streit um Nietzsches Geburt der Tragodie*, hrsg. von K. Grunder. Hildesheim, 1969), собраны интересные материалы в связи с полемикой, разгоревшейся вокруг этой проблемы. Характерна язвительная критика молодого Виламовица-Меллендорфа, откликнувшегося на книгу памфлетом "Филология будущего" ("Zukunftsphilologie" - колючая параллель к вагнеровской "музыке будущего"); на первый взгляд могло бы показаться, что речь идет о чисто научном споре, осложненном к тому же ситуацией «школьного» ангажемента (из двух ведущих школ немецкой филологии Ницше представлял крыло Ричля, а Виламовиц - Отто Яна), но, по существу, дело обстояло гораздо сложнее, скажем так: меньше всего затрагивалась здесь просто филология, больше всего - мировоззрение и стиль мышления, в итоге - сама "жизненность". Как иначе понять, что резкая отповедь Виламовицу со стороны Э.Роде ("Afterphilologie"; русский перевод этого своеобразного заглавия предполагает два варианта прочтения: академический - "Псевдофилология" и маргинально-аутентичный - "Задофилология") могла удостоиться совершенно корректного ответа с разъяснением, что положения, защищаемые Роде, не имеют ничего общего с ницшевскими (в грубом опредмечивании контекста: мы-де - филологи и разберемся между собой; он же - беллетрист)? Как понять, что знаменитое сочинение Роде "Psyche" было впоследствии зачислено в разряд филологической классики, хотя в существенном оно развивало темы, поднятые Ницше (при, откровенно говоря, неприличном упоминании автора "Рождения трагедии" и бывшего друга)? Очевидно, дело было не в филологии; этот гениальный филолог странным образом перестал быть филологом еще до этого, как стал им ("Я даже сомневаюсь, - писал он тому же Роде в январе 1870 г., - удастся ли мне вообще стать настоящим филологом; если я не добьюсь этого походя, как бы по случайности, то дело дрянь. Беда в том, что у меня нет образца, и я рискую остаться в дураках". Вр. 3, 94.). В другом месте он выражается уже вполне «*по-ницшевски*»: "Твое мифологическое понимание филологии как дочери (так уж и дочери! heu heu!) философии, которая в качестве таковой не подлежит никакому контролю и подсудности, лишено хоть сколько-нибудь явного основания. Говоря мифологически, я рассматриваю Филологию как выкидыш Богини Философии, зачатый совместно с каким-то идиотом или кретином. Жаль, что Платон не выдумал уже подобный "mythos"; ему поверил бы Ты скорее - и поделом. Я-то спрашиваю каждую отдельную науку о ее визе на выезд, и если она не может подтвердить, что на горизонте ее лежат какие-то великие культурные цели, я хоть и пропускаю ее дальше - ибо в царстве знания сычи обладают такими же правами, как в царстве жизни, - но смеюсь, когда названные сычиные науки размахивают руками и становятся на котурны" (П. Дейссену в октябре 1868 г. - Вр. 2, 239). Это уже настоящий отказ, откровенное дезертирство, тем более шокирующее, что дезертир оказывался одним из наилучших, и притом не в разгаре филологической славы, а в самом преддверии ангажемента, - некий *Паскаль* филологии, обещающий стать ее *Лейбницем* или *Гауссом* и почти ритуально закалывающий в себе "*сверх-Ричля*", чтобы уготовить стези "*Фридриху Ницше*". Именно это и угадал в своем сопернике встревоженный Виламовиц; еще раз: ярость нападков на "Рождение трагедии" провоцировалась не филологической мимикрией книги (для этого было бы достаточно просто спора, как в случае с Роде), а как раз ее антифилологической подоплекой; сарказмы Виламовица - "Пусть г-н Ницше сдержит слово, пусть в руках у него будет тирс, пусть он шествует из Индии в Грецию, но да сойдет он с кафедры, на которой ему пристало бы учить науке; пусть у ног его улягутся тигры и пантеры, а не филологическое юношество Германии" - совершенно недвусмысленно обнаруживают венаучную, внецеховую специфику скандала, где исконно филологический инструментарий, почтенно отчужденный и подчеркнуто объективный, используется в жанре "passiones". Водораздел был обозначен самым резким образом: в черновых паралипоменах к "Рождению трагедии" фигурирует формула, не оставляющая никаких сомнений на этот счет; "Я изгнал бы из моего идеального государства так называемых "образованных", как Платон, поэтов:

это мой терроризм" (KSA 7,164). Ницше "Рождения трагедии" - уже предшественник Ницше "Генеалогии морали", стало быть, уже не филолог, а генеалог, для понимания которого - редчайший образчик герменевтической рекомендации - "нужно быть почти королевой и во всяком случае не "современным человеком" - нужно пережевывание жвачки..." (KSA 5,256). Дело было не в том, соответствовал ли греческий феномен винкльмановской модели (отстаиваемой и Виламовицем), или в подоплеке его скрывался "азиатский хаос: филология в анализах Ницше - идеальный повод для постановки проблем иного ранга и иной значимости. Юношеские увлечения Кантом и Шопенгауэром, вообще философией не могли сойти бесследно в становлении мысли этого филологического вундеркинда; старый Ричль, потрясенный профессионализмом работы над источниками Диогена Лаэртского, проглядел чисто философскую гетеродоксию этого ума, шедшего от текстологических источников к философскому, а в пределе уже к жизненному первоисточнику. С философской точки зрения "Рождение трагедии" могло бы предстать неким филологическим аналогом *"коперниканского переворота"* Канта, т.е. значимость книги для филологии, без преувеличения, могла бы соперничать со значимостью "Критики чистого разума" для математического естествознания. Надо вспомнить центральный вопрос кантовской "Критики" - *"Как возможны синтетические априорные суждения?"*, никогда еще до этого не задававшийся в философии, хотя именно на указанных суждениях и покоилась вся логика естественнонаучного познания, и перенести - *mutatis mutandis* - этот вопрос в сферу филологии, где он получил бы единственно адекватную формулировку: *"Как возможна Греция?"* (ср.: Т.В. Strong, Friedrich Nietzsche and the Politics of Transfiguration. Univ. of California Press, 1975. P. 36-37), - именно таковой, хотя и без кантовской терминологии, окажется философская интенция "Рождения трагедии". Пафос *"Критики чистого разума"* трансформируется здесь в *"Критику чистой Греции"*, ибо едва ли стоило специально оговаривать такую очевидную параллель, как релевантная идентичность филологической *"Греции"* и логико-методологических *"синтетических априорных суждений"*. Указанная трансформация метода со временем станет привычной процедурой - Кассирер и Леви-Стросс применяют ее к мифу, Юнг - к бессознательному, а, скажем, Э.Ласк - к самой кантовской философии; следует, однако, отметить, что в случае "Рождения трагедии" она носит исключительно формальный характер, так что о содержательной аналогии с Кантом не может быть и речи. Возможность ницшевской *"Греции"* конституировалась в существенно ином ключе; здесь догматически-классической парадигме «чистого» эллинского мира, изживающего свой художественный гений, казалось бы, в кредит и в назидание будущим поколениям, противопоставлен образ иной Греции - критический, кризисный, во всех смыслах *"нечистый"*, поскольку скрывающий за потемкинским камуфляжем достижений свирепый разгул хаоса и невменяемое. Ницшевское априори: *"Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины"* (KSA 7,159), скликающееся с тютчевским: *"О, страшных песен сих не пой, под ними хаос шевелится"*, оказалось как бы универсальной категориальной формой, синтезирующей именно этот материал; понять феномен греческой красоты не в прекраснотушном скольжении по поверхности, а в генеалогической вертикали погружения в глубину, и значило узреть *"шевелиющийся хаос"*, парализующую голову Медузы до отражения её в аполлоническом щите Персея. Нетрудно догадаться, что филология оказывалась здесь уже не у дел; от филолога требовалось одно: добросовестно открывать одну за другой все шесть дверей и не приближаться к *седьмой*. Филолог мог и обязан был быть ученым толкователем письмен - при условии, что дело ограничивалось двухмерной проекцией печатной страницы; ему позволялось даже пользоваться чисто компенсационными или релаксационными льготами вроде забавных прихотей Prugelknabenmethode; что возбранялось ему раз и навсегда, так это донкихотская аберрация восприятия, где печатная страница вырельефливалась в реальность и сплетала приватности академической карьеры с превратностями личных судеб. Но как раз в этом и концентрировалась вся неповторимая специфика феномена Ницше, цельность и непротиворечивость его характера, верность самому себе; здесь он шел до конца, сея вокруг смятение и устилая свой жизненный путь бесконечными разрывами, сначала с филологами, потом с Вагнером, метафизикой, романтикой, пессимизмом, христианством, самым близким и родным; на этой стезе

самоидентификации личных судеб с судьбами Европы - первое и обязательное условие культурного гения первого ранга - срывались так или иначе многие, и в первую очередь Вагнер, не выдержавший испытания "*семью одиночествами*" и забывший об Итаке в театральном бумбуме Байрейта; автор "Рождения трагедии" не мог успокоиться до самой грани, на которой неизбежным оказывалось раскавычивание "Рождения трагедии" и перенос действия из Элевсинских мистерий в базельский, а потом и в йенский желтый дом. "Невозможная книга" - в этой будущей самооценке Ницше проговорится не просто обычная в таких случаях досада зрелого автора на дефекты юношеского вдохновения, а недовольство канто-шопенгауэро-вагнеровским камуфляжем, помешавшим "Рождению трагедии" стать первым по счету "Несвоевременным размышлением". Дефекты относились не к вдохновению, а к опутанному псевдоидеологическими сетями сознанию, увертывающемуся от Сциллы филологии, чтобы наскочить на риф байрейтской Харибды и испортить себе дионисическое посвящение "примесью современной вещей" (KSA 1,20). В респективе "Опыта самокритики" эта аберрация выглядела уже самым плачевным образом: можно представить себе, чем должна была казаться автору попытка втиснуть трагическое миропонимание или, точнее, *первофеномен* трагического миропонимания как такового в психологию актера. Феноменологически увиденное и, стало быть, очищенное от упомянутой «примеси» "Рождение трагедии" предстает отнюдь не книгой, а родом посвящения в мистерии Элевсина, в ту самую религию страдающего Бога, которую Шеллинг на языке христианской эзотерики обозначил как языческое откровение Христа в факте непрерывного Пришествия (см. Schelling, Philosophie der Offenbarung. Samtliche Werke. 2 Abt. Bd 4. Stuttgart, 1856. S. 74-78). "Рождение трагедии" в этом смысле оказывается как бы камертоном, задающим тон, темой тем ницшевской философии и - что примечательнее всего - чисто *христианской темой*, на фоне которой камуфляж текста обнаруживает *двойное дно*: Кант, Шопенгауэр и Вагнер к отношению эллинства, но и само эллинство в отношении христианства. Не случайно, что раскавычивание книги в последних сочинениях Ницше (в последних днях его сознательной они) уже прямо связано с устранением на этот раз эллинской "*примеси*" и стоянием один на один с христологической проблематикой: тексты "Антихриста" и "Ессе Номо" с этой точки зрения воспроизводят "Рождение трагедии" в редуцированной очищенности темы от смысловых и исторически неизбежных опосредований. Очевидно во всяком случае одно: воссоздание христианской темы не в церковно-каноническом ключе, а путем погружения в до и внехристианские истоки христианства, говоря конкретнее, реанимация христианского импульса в ритмах его "*языческого*" становления и возгонки до Мистерии Голгофы, так что приходилось из второй половины XIX века и, значит, рекурсивно воссоздавать в личном опыте прокурсию отрезка от, скажем, пятого дохристианского века к первому, и уже христианскому, - все это не могло не сказаться жесточайшими издержками и аберрациями. Автору "Рождения трагедии" не довелось слишком много ждать, чтобы осознать уникальную катастрофичность собственного предприятия: присягая на верность Дионису, он не играл в эстетство и богемную маргинальность, чтобы можно было снисходительно зачислить его в класс бисерствующих снобов; ставка была сделана на жизнь и, больше того, на самый смысл жизни и истории, и здесь уже пакт с Дионисом отдавал не шалостями в духе Оскара Уайльда или будущих мистагогов из кружка Стефана Георге, а смертельной серьезностью... Иначе: Дионис, взятый в качестве атрибута для игры, моментально предстал неким оборотнем, *loop-gaoui* демонологических протоколов, но Дионис, взятый по-ницшевски, не мог уже быть ничем иным, как *языческой потенцией Христа*, мучительно возгоняющей себя до актуализации через бесконечную череду смертей и воскресений. Понятно, что прокурсивная реконструкция, намеченная в "Рождении трагедии", должна была столкнуться с рекурсивным противотечением девятнадцати христианских столетий, если что и возгоняющих по существу, то чистейшей воды антихристианство под прикрытием елейной идеологии и мощного церковно-тоталитарного механизма подавления. Конфликт исчерпывающе засвидетельствован в уже знакомой нам фразе Ницше: "Я вобрал в себя дух Европы - теперь я хочу нанести контрудар". Мегаломанические нотки, которые почудились бы в этом признании иным ушам, избалованным всякою рода психиатрическими пересудами, не должны сбивать с толку: речь идет

не о метафоре, а о факте, как бы мы ни реагировали на него. Иметь противником девятнадцать христианских столетий (плюс еще четыре-пять сократически-еврипидовских, в итоге - почти двух с половиной тысячелетний *автидионизм*) оказывалось нешуточным делом, даже когда покровителем предстал сам Дионис; но в том-то и заключалась трагическая подоплека "Рождения трагедии" (по сути, уже "Смерти трагедии"), что в трафаретах христианско-церковной идеологии, отрезавшей себя от мистериальной пуповины эллинского гносиса и подключенной к блоку питания сократически-еврипидовской и, значит, противомузикальной и, значит, противотрагической дидактики, Дионис неизбежно отождествлялся с Антихристом, и каждая попытка восхождения к опыту Мистерий уже как бы автоматически зачислялась в разряд ереси и гетеродоксии. Автор "Рождения трагедии" и "Антихриста" мог бы опознать трагическую диалектику своих судеб в бессмертной загадке души Юлиана Отступника и даже в ближайшей по времени загадке души своего великого соотечественника Гете, склонного в нелепой тяжбе *христианство-язычество* отдать предпочтение язычеству... во исполнение *действительных* заветов самого христианства; признание престарелого Гете: "Кто нынче христианин, каким его хотел видеть Христос? Пожалуй, я один, хотя вы и считаете меня язычником" (Goethe, *Unterhaltungen mit dem Kanzler von Muller*, Munchen, 1950. S. 71) - прочитывается в контексте истории как прямой эксплицит Юлиановой тайны и - уже как бы в кредит - тайны "последнего ученика философа Диониса". "Рождение трагедии" как тема тем нищевской мысли, оказывается в этом свете настоящим ключом к расшифровке всего его творчества, которое выглядит уже не иначе как сплошной родовой мукой в условиях лихо разыгрываемого водевиля позитивистической современности. «*Контрудар*» по Европе требовал серьезнейшей военной подготовки; обжѣвшись на Вагнере, этот неопытный эпопт, показавшийся себе было бравым гасконцем, которому впору завоевывать Париж («*невозможная книга*»!), мигом отпрянул назад для выработки иной политики и иной тактики действий; надо было срочно менять декорации и маски, чтобы задуманное предприятие не возымело театрального успеха, где ответом обывательской аудитории на новое дионисическое таинство могли бы стать (на манер Байрейта) хлопки партера. За разочарованием филологической братии последовало разочарование братьев in Wagnero: автор "Рождения трагедии" изменил де-себе; на деле он изменял не себе, а себя; в этой крохотной, коррекции таилась вся головоломка неистовых превращений. Спасти трагедию значило уже убрать трагедию с подмостков (театра ли, души ли) и отдать подмосткам пародию: в проекции театра - Бизе, в проекции души - "Человеческое, слишком человеческое"; но было бы плоским представлять дело так, как оно представлялось внешне: сначала пылкий метафизикус, голубоглазо влюбленный в небесное, потом остуженный скептик, променявший небесное на земное. Кто объяснил бы тогда, откуда в остуженном скептике взялся гераклитический пожар последних сочинений (с "Заратустры" и далее)? Еще раз: на деле скептик был отступлением (в стоп-кадре «*отступничества*») для нового прыжка - в трагедию; "Человеческое, слишком человеческое" не предавало "Рождения трагедии:", а модифицировало его в новый и более стремительный виток; точнее, предавался текст для спасения контекста, буква для спасения духа, анкета (был идеалистом, стал реалистом) для спасения неназываемой мистерии («*мы, безымянные*»). Ибо речь шла не о (пусть гениальной) книге, ни даже о "грандиозной греческой проблеме": Греция была лишь исходным пунктом для рывка в современность, генеалогической точкой отсчета европейской культуры, первым всемирно-историческим экспериментом культурного самоспасения и небывалой эстетической космодицеи, - экспериментом, двоящимся как в ошеломительных взлетах, так и в позорных падениях, - иными словами, симптомом, энигмой, первым жертвенным животным, закланным на алтаре культуры, которое если и следует потрошить, то не из почтенных нужд филологии, а в целях гаруспиций (гадания на внутренностях животных), - задача, нашедшая необыкновенно глубокое осуществление в "Рождении трагедии".

## ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Понять это странное положение вещей можно было бы лишь открыв глаза на следующую очевидность: в Ницше выражает себя не просто какая-то гениальная и неповторимая субъективность, но некая универсальная проблема, или, говоря точнее, эта неповторимая субъективность проявляется здесь как универсальная проблема со всеми вытекающими отсюда шокирующими последствиями. Проясним сказанное с помощью следующего сравнения. Когда мы читаем, скажем, "Страдания молодого Вертера", история эта именно оттого и предстает нам нормальной и *"жизненно"* релевантной, что изображенные в ней страдания исключительно субъективны и не выходят за рамки чисто личной проблемы. Казус Вертер подчеркнута частен и значим только для класса *«Вертеров»*; молодой человек пользуется своим правом страдать и наложить на себя руки в строго ограниченной топике касающейся лишь его одной проблемы; можно сострадать ему или не обращать на него никакого внимания, но при этом твердо знать, что все, что здесь бушует и выходит из берегов, есть частное дело, *privasy* молодого неудачника. Вертер просаживает свою любовь, как какой-то предприниматель свое состояние - ситуация, допускающая какое угодно сочувствие, но никак не дотягивающаяся до *"мировой скорби"*. Это и считаем мы - в трогательном равнении на свои частнособственнические привычки - *нормальным*. *Ненормальное* начинается для нас там, где мы наталкиваемся на некоего Вертера, страдания которого причиняются не *"Лоттами"*, а - *миром*, скажем так, чтобы вернуться в нашу непосредственную тему: *двумя с половиной тысячами лет европейской истории*. *"Лотта"* расширяется тут до истории и становится историей ("Вся история, как лично пережитая и выстраданная - только так будет это правдой" KSA 12, 400); соответственно: страдания юного воздыхателя претерпевают модификации, вращаясь, сообразно с поведением метаморфозирующейся до мира Лотты и превратностями ее судеб, в невозможное. Здесь - с вертеровской страстью, навзрыд, навывлет - ревнуется мир, совращаемый и насилуемый мировоззрениями. Мы же рассеянно мигаем глазами и пожимаем плечами, не зная, кому здесь собственно сочувствовать. Понимание утыкается в тупик, и нам грозит опасность потерять под ногами надежную почву шкурнического мироощущения. Ибо наши представления о том, что нормально и что нет, коренятся как раз в противоположном: нормально для нас, когда сходят с ума и стреляются из-за неразделенной любви или лопнувшего гешефта; ненормально, когда то же самое случается из-за проблем, от века значащихся *"теоретическими"* и отданных на милость интеллектуальным придуркам. Есть, следовательно, частные проблемы, касающиеся *"тебя"* и *"меня"*, где «Я» вправе требовать сатисфакции, если оскорблена *"моя"* честь, и есть проблемы универсальные, где *"мы"* обаглумимся над миром (скажем, *"я"* - материалистически, а *"ты"* - идеалистически), при условии, конечно, что мы при этом не преступаем границ академически регламентированной болтовни.

Тем решительнее и безогляднее преступает эти границы некий ревнивец Ницше, для которого *"мы"* не больше, чем *"ослы и старые девы обоюбого пола"* (KSA 3, 634). Так единственно приличествует это тому, кто объявляет войну всем мировоззрениям, отстаивая поруганную честь мира. Ницше, эгоцентрик мира, променявший профессорский стул на нелегкое ремесло Бога, не умещается ни в оглавлениях историй философий, ни на знаменах всякого рода идеологий. Он ведет себя, как это и подобает собственнику, чья единственная собственность - мир и судьбы мира, и его разрушительная страсть современна как глубокой древности, так и злобе дня.

## ТРЕТЬЕ ДОПОЛНЕНИЕ

С этого сочинения, а точнее с первых четырех книг его, которые можно было бы назвать своеобразным потенцированием и радикализацией мировоззрительного горизонта "Человеческого, слишком человеческого" и "Утренней зари" до катастрофизма книг последнего сознательного семилетия, начинается новое - эпохальное - измерение ницшевской мысли.

Симптоматична в этом отношении сама неоднородность корпуса: от четвертой книги ("Sanctus Januarms") ближе до "Заратустры", чем до первой книги, а пятая книга выглядит уже и вовсе инкрустацией из "По ту сторону добра и зла". Эта раздвоенность текста, стояние его между эпикурейским садом "Человеческого, слишком человеческого" и Гефсиманским садом последних сочинений знаменует новые и решительные метаморфозы в душевном строе Ницше. Говоря символически: если в "Человеческом, слишком человеческого" речь шла о своего рода психоаналитическом разоблачении юношеского идеализма с предоставлением роли главного консультанта Вольтеру, то здесь уже ревизии подвергается сам Вольтер. Иначе: Вольтер, взятый в союзники против испорченной вагнерианством "грандиозной греческой проблемы", и Вольтер в роли сделавшего свое дело мавра; характерен анонимный подарок, полученный Ницше из Парижа, уже по выходе в свет "Человеческого, слишком человеческого": бюст Вольтера с открыткой: "L'ame de Voltaire fait ses compliments a Frederic Nietzsche" (Душа Вольтера шлет свои приветствия Фридриху Ницше) - что комплимент этот выглядел достаточно шатким, выяснилось в самом скором времени: речь шла о задачах "которые и не мерещились Вольтеру" (П.Гасту от 26 августа 1883 г. - Вр. 6,436). Эта алхимия внутренних превращений приходится как раз на период создания "Веселой науки". Ницше называл ее комментарием к "Заратустре", написанным до текста; таков, можно сказать, ее *"реалистический"* (ante rem), но позволительно учесть и *"номиналистический"* (post rem), где она оказывается своего рода комментарием к уже написанному тексту, собственно к "Человеческому, слишком человеческого", символически - все к тому же вольтерианскому оскалу, сюрреалистически прорезавшемуся сквозь *"лица не общее выражение"* недавнего Зигфрида и вагнеровского *«верного Личарды»*. Крайне любопытный Янус комментаторского искусства: Вольтер в тональности "Человеческого, слишком человеческого" - некий наемник свободомыслия, гид, вводящий неискушенного отпрыска лучших традиций люциферически окрашенной духовности в едкую семантику мировоззренчески осмысленной поговорки: "Il n'y a pas de heros pour le valet de chambre" (Нет героя для лакея), - можно было бы охарактеризовать эту семантику злобной карикатурой на Сент-Бева из дневников Гонкуров (кстати, не без удовольствия воспроизводимой самим Ницше. - KSA 13,12): "Сент-Бев увидел однажды первого Императора. Это случилось в Булони: последний был занят тем, что справлял малую нужду. Не в этой ли чуточку позе он привык с тех пор видеть и оценивать всех великих людей?" Модуляция в тональность "Веселой науки" прокидывала уже мост от подобной подглядывающей оптики *"человеческого, слишком человеческого"* к провидческой оптике *"сверхчеловеческого"*, в идеале - *"слишком сверхчеловеческого"*; сама раздвоенность книги безошибочно фиксирует перевал, существенный для всего ницшеевского мировоззрения: от *"человеческого, слишком человеческого"* к *"сверхчеловеческому, слишком сверхчеловеческому"* - в сущности, от вольтериански-сент-бевской парадигмы первого *"слишком"* к крестным мукам второго. Вольтер в тональности "Веселой науки" - вполне *"скелет"*, фигурирующий уже не в посвящении, а дрожащий в тюреновском эпиграфе к пятой книге: жалкое подобие вчерашнего вольнодумства, полагавшего, что можно стяжать себе свободную мысль одной только веселостью подглядывания в *«слишком человеческое»*, - дезертир Голгофы и уже не более чем *"великолепная, остроумная canaille"* (П.Гасту от 24 ноября 1887 г. - Вр. 8, 204), от которой, если что и осталось впрок, так это ряд навыков необыкновенного (почти хлестаковского) легкомыслия, терапевтически необходимого для хоть какой-то нейтрализации смертельного глубокомыслия и врожденной невеселости автора "Веселой науки".

#### ЧЕТВЕРТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Таковой оказалась оценка фельетонистической эпохи, которой он в свою очередь как никто другой воздал должное: "Еще одно столетие газет - и от всех слов будет нести воню" (KSA 10, 73). От чего же собственно обороняемся мы, когда мы обороняемся от Ницше? Слышанное ли дело срывать злобу на сейсмографе при подземных толчках или на термометре при повышении температуры - в надежде сохранить на такой манер жизнь и здоровье? Нигилизм Ницше - не

причуда "теоретика", а диагноз; он лишь описал, "что наступает, что уже не может наступить иначе" (KSA 13, 189). Что же именно? Мечтатели Средней Европы ухитрились прочесть и использовать диагноз как - инструкцию; против этого "дьявольского учения" и ополчились тогда прагматики Запада, как если бы все упиралось лишь в злую волю некоего "немца", накликавшего все беды мира на brave new world. Нигилизм тем временем не церемонился и не делал никаких различий. "Моя истина ужасна" (KSA 6, 365) - фельетонисты всех стран поспешили вогнать сказавшего это в шаблоны собственных масштабов, где сказанное оценивалось попросту как личное мнение философа: к тому же патологически больного. Что действительный субъект этого высказывания был не больной Ницше, а *история ближайших двух столетий*, которые до такой степени уплотнились в личность Ницше, что он уже не делал различий между "собой" и "ними", до этого подгляда не дотягивались не только репортеры, но и "коллеги" - философы. С другой стороны и психиатрам, которые потому и стали хозяйничать в проблеме, что перед ней капитулировали философы, легче было бы пролезть через игольное ушко, чем уяснить себе, что же здесь собственно подлежало лечению. У этого пациента отсутствовала "*внутренняя*" жизнь в расхожем смысле слова; его "*нутро*" (объект психиатрического вмешательства) оказывалось не больше не меньше как - *мировой историей в объеме ближайших двух столетий*. История болезни с диагнозом "Paralys. progr," протоколировала таким образом эпоху мировых войн и политической корректности: "9 июля. Прыгает по-козлиному, корчит рожи, выпячивает левое плечо." Что ж, одно из этих двух столетий (во всем репертуаре его козлиных прыжков и гримас) почил уже в нашем активе. Не нужно быть особенно сообразительным, чтобы догадаться, какая ужасная истина здесь стала реальностью. Неспособные сорвать злобу на абстрактном Боге теизма, мы срываем ее на конкретном Боге-пациенте. Между тем: если Ницше предпоследнего десятилетия 19 века (мир, запертый в полуживую плоть пенсионера) был еще только регистратором того, "*что наступает, что уже не может наступить иначе*", то Ницше 20 века есть сама *история*, бойкий карикатурист, поместивший автора Заратустры в угоду сиюминутному спросу дня на скамью подсудимых в Нюрнберге, был не так уж далек от сути. Он и в самом деле сидел там (в сущности еще со времен первой мировой войны); эксперт и спец по нигилизму, ознаменовавший свое вхождение в помешательство отождествлением себя с убийцами (Прадо, Шамбиж), должен был отвечать за последствия этого шага и дальше, в масштабах мировой истории. Ницше в Нюрнберге являет образчик тех пограничных тем, которые легче всего журналистски ополить и труднее всего - понять. Не то, чтобы он заслужил это наказание; скорее напротив: как раз с журналистских позиций чистота его не вызывает сомнений. Честный журналист должен был бы пожать плечами: Что за чушь! Открыватель "*нигилина*" несет ничуть не большую ответственность за нигилизм, чем открыватель "*палочки Коха*" за туберкулез!

Реабилитация мнимого предшественника фашизма отвечала бы именно честной обывательской установке. Более глубокий взгляд, напротив, фиксирует присутствие Ницше на скамье подсудимых - разумеется, не из моральных, того менее политических, но именно из "*более глубоких*" соображений. Верно то, что "*сверхчеловек*" национал-социализма был предугадан и заведомо забракован автором Заратустры как «*дурно пахнувший*» ("Гости мои, вы, высшие поди, я хочу говорить с вами по-немецки и ясно. Не вас ожидал я здесь, в этих горах". KSA 4, 350). Но верно и то, что Камалока этого неудавшегося манихея свершалась именно на земле, в объеме всей первой половины столетия с двенадцатилетней кульминацией в среде говорящих по-немецки "*высших людей*". С момента, когда было произнесено "*Я Прадо*" (читай: творец Прадо, изобретатель Прадо, в параллель к флюберовскому: "Madame Bovary, c'est moi"), все шло уже неудержимо к предельному случаю: "*Я Гитлер*"... Духовная судьба Ницше - это судьба некоего опрометчивого творца, которому его творение стало кошмаром ("Отвращение! Отвращение! Отвращение!" KSA 4, 275); лабиринтный человек попал в национал-социализме в оруэлловскую комнату 101 и предал свою Ариадну. - Пусть так. Вспомним однако, прежде чем начать подводить итоги: если в этом мареве абсурда есть вообще что-либо реальное, то уж никак не приватная личность Фридриха Ницше, принятая сначала за "*профессора, доктора*", а потом уже за черт

знает кого, но то, что мы в лад нашим надменно-слабоумным академическим представлениям абстрактно величаем историей.

Провал позорного первого акта, собственно первое из двух столетий этой истории мы уже успели пережить. «Миссия Антанты» в 20 веке успешно кульминируется в порнографических саморазоблачениях американского way of life. Теперь начинается второе столетие, продолжение эксперимента другими средствами, где вакансию говорящего по-немецки и стертого в порошок "сверхчеловека" занимает англоязычный, преуспевающий "супермен". Не будем однако строить никаких иллюзий относительно подлинного протагониста обоих представлений: дело шло тогда и идет все еще и теперь лишь о переодетой «морской свинке». Может быть, нам удастся еще - перед третьим актом - взять себя в руки и противопоставить ужасной истине нигилизма мужество и присутствие духа.

## ПЯТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

В 1876 г., накануне разрыва личных отношений с Вагнером, Ницше выпустил в свет четвертое и последнее из "Несвоевременных размышлений", озаглавленное "Рихард Вагнер в Байрейте", - настоящий панегирик байрейтскому маэстро, который впоследствии даже самые непримиримые антиницшеанцы вынуждены были причислять к лучшим произведениям литературы о Вагнере (как, к примеру, Х. Ст. Чемберлен: H. St. Chamberlain, Richard Wagner. Munchen, 1896, S. 88). Символически совпавшее с уходом от Вагнера, это сочинение (равно как и третье Несвоевременное - "Шопенгауэр как воспитатель") виделось самому автору «*прощальным письмом*», благодарным взглядом в прошлое, залитое необыкновенно величественным светом огромного вагнеровского солнца, - в жизни Ницше, начиная с 14-летнего возраста, когда в руки одержимого музыкой отрока впервые попал клавирауспуг "Тристана и Изольды", Вагнер был больше, чем событием, скорее именно событием, первым безумящим уколом абсолютного восторга, судьбой, вламывающейся в жизнь и навсегда включающей жизнь в проскрипционные списки жертвенных первенцев смысла и понимания. "Я не в состоянии относиться к этой музыке критически и хладнокровно; все фибры, все нервы содрогаются у меня, и я давно не испытывал такой длительной отрешенности, как от только что названной увертюры (к "Мейстерзингерам". - К.С)" (Э.Роде от 27 октября 1868 г. Вр. 2, 332). Что эта отрешенность не умещалась в стенах концертной залы и непредсказуемо колесила по быту, было уже просто рефлексом одержимости; это значило, скажем, отправиться из Наумбурга в Базель, откуда поступило приглашение на кафедру филологии, узнать в поезде, что в Карлсруэ состоится представление "Мейстерзингеров", сойти с полпути и вспомнить о Базеле уже наутро (рикошет маршрутно не особенно дикий, если сравнить его с почти одновременным броском молодого Владимира Соловьева из Британского музея в египетскую пустыню, но - что гораздо важнее - того же качества и рода). Последовавшее за этим личное знакомство с Вагнером, свирепый прозелитизм неопита, обращающего в новую религию всех своих новых друзей, язычески-христианская двойная роль *героя и апостола*, кующего одной рукой меч, а другой пишущего "Воззвание к немецкой нации" и то самое "Рождение трагедии", которому суждено было стать увертюрой всемирной славы автора "Кольца Нибелунгов", наконец, неопишное блаженство "*трибшенской идиллии*" (23 встречи с хозяином и хозяйкой виллы Трибшен на Фирвальдштетском озере) - все это, включая неумолимую логику ближайшего разрыва, представало неким захватывающе разыгранным мифом на фоне, точнее, на противоясности воцаряющейся позитивистической прагматики и скепсиса, во всяком случае (так скажет об этом в скором времени Шпенглер) "последним событием немецкого духа, на котором лежит величие" (O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Bd 1, Munchen, 1924. S. 472). Разрыву предшествовало разочарование, когда чаемое Рождение Трагедии обернулось вдруг Рождением Байрейта, притом не из духа музыки, а по правилам самого регулярного гешефтмахерства; Байрейт, увиденный новым Римом, католицизмом без слов (с оскорбительно ясным намеком на мендельсоновско-верленовские romances sans paroles), - это будущее



разоблачение, выкрикнутое из 1886 г. (аф. 256 "По ту сторону добра и зла"), оказывалось реальностью в переживаниях уже в 1874 г. Туринское - и уже отнюдь не "прощальное" - письмо "Казус Вагнер", написанное весной и вышедшее в свет в сентябре 1888 (в издательстве К.Г. Наумана), лишь подводило итоги. Впоследствии вагнерианская партия ("Ноль, Польша, Коль") приложит уйму усилий, чтобы осветить конфликт средствами бульварных интерпретаций, мало чем отличающихся от тех, которыми обрабатывали самого Вагнера действительные boulevardiers литературы конца века (как, скажем, Макс Нордау): "шум и ярость" туринского письма Ницше будут объяснять чем угодно, вплоть до зависти неудавшегося музыканта; во всяком случае попытаются создать впечатление внезапности конфликта, как если бы бывший пылкий прозелит, изнемогающий от любви к своему божеству, вдруг сошел с ума и стал изнемогать от хулы на собственную любовь, - ситуация, заставившая еще не сошедшего с ума, но уже стоящего на пороге роковой болезни философа трезвейшим и спешным образом готовить к изданию последнюю из своих книг: "Nietzsche contra Wagner" - впечатлительный коллаж отрывков, подобранных из ряда прежних сочинений в доказательство невнезапности и, стало быть, периодичности скандальной антивагнерианы. Опубликованные посмертно материалы из наследия не оставляют никаких сомнений в действительной причине разрыва; к контроверзе Ницше-Вагнер как нельзя лучше подходит шопенгауэровская притча о переключке великанов, слышащейся гулом в мире карликов. Что обратное влияние восторженного адепта на "мейстера" было ничуть не менее реальным фактом, этого не скрывал и сам Вагнер, списывавший, по собственному признанию, со своего юного друга 3-й акт "Зигфрида" (см. E. Forster-Nietzsche, Das Leben Friedrich Nietzsches. Bd. 2, Abt. 2, S. 853), как знать, может быть, и уже против воли, и "Парсифаля" ("Клянусь Вам Богом, что считаю Вас единственным человеком, знающим, чего я хочу" - *ibid.*, S. 131). Несомненно во всяком случае одно: понять что-либо в этой изнуряюще глубокой истории - значит держаться как можно дальше от отчужденно-надменного стереотипа наукообразного подхода и ориентироваться на непосредственное переживание самого феномена... Прежде всего изумительная стилистика избиения Вагнера в поздних произведениях, и особенно в туринском письме 1888 г. ("В конце концов я емь нынче единственный утонченный немецкий стилист". М. ф. Мейзенбург от 4 октября 1888. Вр. 8, 447), не должна сбивать с толку; он продолжал любить Вагнера как никого, и пронес эту свою любовь даже в годы помрачения, когда достаточно было только произнести имя великого чародея, чтобы взор больного увлажнился и тотчас же приобрел осмысленное выражение, - он ведь и сам успел выдать эту тайну накануне катастрофы в необыкновенно горячих признаниях, изменнически проглядывающих сквозь ритуальные жертвы экзекуции: "Я не знаю, что другие переживали с Вагнером, - на *нашем* небе никогда не было облаков" (KSA 6,288). Собственно ключ к катастрофе дан именно здесь; остается догадаться, какой взыскательностью, какими требованиями могла бы обернуться такая любовь, кроме которой, по существу, и не было другой! Требование сформулировано в "Рихарде Вагнере в Байрейте": "Не разрубать гордые узлы греческой культуры, как это сделал Александр, так что концы его развеялись по всем направлениям мира, *но связать его, после того как он был разрублен*, - вот в чем теперь задача. В Вагнере узнаю я такого анти-Александра" (KSA 1,447). Иными словами, речь шла о действительном спасении культуры и мира от новых «персов» - центробежной силы варварства, распыляющей единство культурного смысла (вся едкость поздних насмешек над байрейтским «Спасителем», спасающим разве что целомудренных юношей и истеричек, настаивалась в этом смысле в целомудренных упованиях самого насмешника). Протрезвление сразило наповал; Байрейт, провиденный как новый апокатастасис, как исход из пленения в обетованную топику возрожденной культуры, оказывался всего лишь ... новым Римом, хуже, контрабандной тропой, ведущей в Рим, во всяком случае новой культурной единицей в реестре ветхих ценностей: Зигфрид, Брунгильда, мировой пожар, гибель богов оставались реалиями сцены и превратностей режиссуры. Станным образом, хотя и с другого конца, базельский профессор филологии предъявлял проблеме счет, мало чем отличающийся (по крайней мере в пренебрежении элементарными эстетическими нормами) от того другого, яснополянского, счета, которым приводил в оцепенение Европу - что это? наивность ребенка или

старческая прихоть? - автор "Что такое искусство". Вздох, не перестающий с тех пор исторгаться из груди, ну хотя бы искусствоведов, не говоря уже о просто здравомыслящих потребителях культуры: помилуйте, но это же театр, искусство, условность! да и мыслимо ли требовать от актера, чтобы он - спасал мир! Ответ: нет, но если речь идет и в самом деле о театре, то нечего инсценировать "*спасение мира*", когда налицо целых тридцать шесть тематических матриц более локального и кассового назначения. Вагнер нарушил правило сакральной сделки; Вагнер вошел в дело с заявкой на реальность, и Вагнер подменил реальность условностью - в условиях «*контракта*» театр оговаривался как средство к цели, целью же было соборное действие и преобразование души; здесь театр стал сам целью, а чаемый теург сам сорвал с себя маску "*нового Эсхила*", оказавшись всего лишь *гениальным режиссером*, ловцом душ - не в видах спасения их, а в целях очередной лицедейской манипуляции и... срыва оаций. Условность? - но на условность не молятся, но условность не выдают за музыкально-драматический паралипоменон к Евангелиям, но условность не избирают местом паломничества, чтобы по прибытии сдавать под расписку собственную обувь в местный музей (башмаки Фридриха Экштейна в байрейтском музее). Вагнер посягнул на невыразимое и выразил его сценой как средством массового оглушения. Мастер нюанса, ясновидец самых патологических оттенков души, спец по вскрытию душевных сейфов, одним тактом магической паузы, одной бесконечной, как горизонт, ферматой, одной тоскующе вздрагивающей квинтой контрабасов и контрафаготов гонящий к *исповедальне* сотни тысяч душ и пригоняющий их все еще к *театру*, - но ведь оттого и была сделана заявка на *реальное*, что сила гения соответствовал *реальности*, и речь, стало быть, шла не о портативных потрясениях бытовой драматики Геббеля или Золя, а о Рождении Трагедии, - оттого и раздалось ужасом разочарование, когда юный прототип уже написанного Зигфрида и еще не написанного Парсифаля обнаружил, что авторскими правами на мистерию завладел не кто иной, как Калиостро. Прибавьте сюда еще и издержки личного общения - диктаторские замашки старшего друга, нетерпимость ко всем прочим маэстро и едва ли не ветхозаветную ревность к малейшим признакам музыкального "*адюльтера*" (эпизод с партитурой Брамса, чуть ли не выхваченной из рук Ницше и отшвырнутой на пол), сальные саксонские анекдоты, подаваемые на десерт и заставляющие робкого обожателя краснеть до корней волос (он, что, не чувствовал, кому их рассказывает, этот бывалый Клингзор, *уже и таким вот фасоном* беруший в оборот своего прото-Парсифаля!), - соедините все это, и фокус развязки предстанет в нестерпимо ярком свете. «*Адюльтер*», но не в предполагаемом смысле, не преминул случиться: ответом на байрейтские фестшпили стала «*фига*» Вольтером, новым патроном и профессиональным идеаловыводителем, - обманутый и безутешный Парсифаль моментально среагировал на случившееся *карантином* "Человеческого, слишком человеческого" и предпочтением псевдохрамовому обряду Байрейта "*фокстротых*" дерганий позитивизма (в музыкальной проекции - Бизе). Что Бизе был не больше чем красным платком, размахиваемым перед Минотавром, об этом сказано прямо: "Вам не следует принимать всерьез то, что я говорю о Бизе; мне самому нет до Бизе никакого дела. Но как ироническая антитеза Вагнеру, он действует весьма сильно; ведь было бы невообразимой безвкусицей, вздумай я, скажем, отталкиваться от похвалы Бетховену. Ко всему Вагнер был обуян бешеной завистью к Бизе; "Кармен" побила все рекорды успеха в истории оперы и намного превзошла число постановок всех вагнеровских опер в Европе" (К.Фуксу от 27 декабря 1888 г. Br. 8, 554). Одним словом, речь шла уже о бесповоротно иных ("*сверхчеловеческих*") задачах, для реализации которых пришлось мобилизовывать самые диковинные и скандальные средства; притча о Бенвенуто Челлини, пересказанная в аф. 258 "Человеческого, слишком человеческого", - ваятель, обнаруживший при отливке статуи нехватку жидкой массы и изловчившийся бросать в нее что попало, тарелки, ложки, вилки, - выростала до притчи о самом себе: отливая в себе нового рыцаря Грааля, этот несвоевременец не гнушался никаким сырьем, от Вольтера до Бизе, от равнения на разбойников итальянского Возрождения до леденящих кровь кошунств. Байрейт - призрак старого Карфагена, выдающего себя за Град Небесный, - должен был быть разрушен *любой ценой*. Ценой - удивительно ли прозвучит это после сказанного - собственной души и собственной жизни. "Когда я пошел дальше один, я

дрожал; вскоре затем я был болен, больше чем болен, я изнемог - изнемог от неудержимого разочарования во всем, что остается для вдохновения нам, современным людям, в растроченной всюду силе, работе, надежде, юности, любви, изнемог от отвращения ко всему идеалистическому лганию и изнеженности совести, которая снова одержала здесь верх над одним из храбрейших; изнемог наконец, и не в последнюю очередь, от гложущей тоски беспощадного подозрения - что я осужден отныне на более глубокое недоверие, более глубокое подозрение, более глубокое одиночество, чем когда-либо прежде. Ибо у меня не было никого, кроме Рихарда Вагнера..." (KSA 6,432).

## ШЕСТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Со всем этим или, точнее, за всем этим смутно, но и в самой смутности непреложно прорисовываются контуры более глубинного ракурса ницшевского мировоззрения как такового - *ракурса политики*. Речь идет не о философии политики Ницше, в духе, скажем, национал-реалистических интерпретаций Альфреда Боймлера (см.: A. Baeumler, Nietzsche, der Philosoph und Politiker. Leipzig, 1931), а о философии Ницше как своего рода политике, хотя, разумеется, обе темы нераздельно связаны друг с другом и даже вполне допустимо говорить о первой как о секуляризованной экстраполяции второй. Очевидность этого ракурса фиксируется в специфике ряда факторов: 1. Уже само предприятие Ницше, начиная с "Рождения трагедии", было не чем иным как объявлением войны, сначала сократически-еврипидовской рассудочности, а по мере набирания скорости - европейской морали и культуре вообще. 2. Милитаристический глоссарий занимает едва ли не ведущее место в объеме всей ницшевской лексики; вольно или невольно, но, когда он оказывается в эпицентре своей проблематики, язык подчиняется уже правилам не *artis poeticae*, но *artis militaris* (это выражено в прямом требовании стилистики: "Предпочтение отдавать словам военным". - KSA 12,401). 3. Воображаемая геометрия философии Ницше - геометрия плацдарма в статусе тотальной мобилизации и перманентных военных действий, воплощенная гераклитовская философия *"распри"*, принятая за норму существования. Каждое из этих трех положений настолько явно подтверждается всем корпусом вышедшего из-под пера Ницше, что приводить доказательства не имеет смысла; но здесь-то и скрывается ключ к тому, что было названо ракурсом политики; здесь-то и переносится его философия из традиционно умозрительного измерения в измерение политическое - в словах юноши Ницше: "Политика нынче орган мышления вообще" (К.фон Герсдорфу от 16 февраля 1868 г. - Br. 2,258) - и Ницше-смертника, танцующего на краю бездны: "Только с меня начинается на земле *большая политика*" (KSA 6,366), раздвоенное жало намека вонзается разом в оба смысла, буквальный и фигуральный: в политику в смысле Бисмарка и в политику самой мысли, которой в преддверии неслыханных крушений и катастроф впору бы уже не высиживать благополучные отвлеченности, а вращаться в конкретику планетарных судеб и, значит, настаиваться не на спекулятивной блажи в садах Академа или Ликея, а на трезвой выучке все той же, к примеру, бисмарковской школы. Вот это-то и было действительным прозрением Кассандры в условиях обреченной Трои (либеральной Европы) и легковерных троянцев (европейцев), настолько радующихся *"деревянному коню"*, что готовых высмеять любое предостережение. Через считанные десятилетия *"конь"* обернется всадником из Апокалипсиса, и тогда политический ангажемент философии станет темой чуть ли не бульварных листков; о нем вскричат Шпенглер, Карл Маннгейм, и сколько еще, но момент, как теперь уже привидится *нам*, будет упущен. Что, однако, мысль эта никак не вписывалась в самодовольный менталитет Нового времени, не говорит еще ни о чем, кроме того, что она не вписывалась именно в этот образ мышления; в более ранних разрезах европейской истории, не одержимых пока респектабельным демоном рационализма, она могла выглядеть естественной и даже быть нормой восприятия. Было бы нелепостью искать морфологическое сродство между кабинетной дипломатией XIX века, в лице, скажем, Бисмарка или Дизраэли, и религиозно-мистическими углублениями позднего Шеллинга или Баадера; но было бы не меньшей нелепостью не искать этого сродства между, скажем, гвельфско-гибеллинскими распрями

Средневековья и одновременными спорами вокруг аверроистского движения в стенах Парижского университета. В мировоззрительном строе Средневековья переход от чистой умозрительной мысли в сферу политики (в сферу, беря шире, чего угодно - *quod libet*) не только прост, но и в каком-то смысле обычен, до того обычен, что будущим, свободным от позитивистической прививки историкам придется еще решать, чему в большей степени принадлежит жизнь и судьба последнего великого Штауфена, Фридриха II, - политической истории или истории культуры. Новое время, не ведающее иной страсти, кроме страсти к демаркации, классификации, таксономизации, пролегло здесь почти неодолимым водоразделом и ведомственным разделением функций, рационально фундированной этикой профессионального призвания (по Макс Веберу), где каждый занимается "*своим*" делом, находя "*неэтичным*" вмешиваться в "*чужие*" дела, даже - что, пожалуй, поразительнее всего - в пределах одного и того же сознания: ценителям "*поэтов*" Гете, Тютчева или Сен-Жон Перса ни за что не пришло бы в голову ценить в них "*политиков*" и "*дипломатов*", и едва ли достойное соперничество В. фон Гумбольдта князю Метгернику на Венском конгрессе навело бы на мысль о творце сравнительного языкознания. Ситуация Ницше - сплошное нарушение этого рода профессиональной "этики"; несостоявшийся профессор состоялся в нем профессиональным воином ("он был, - говорит о нем Христиан Моргенштерн, - мудрецом из касты воинов, а не жрецов". - Ch. Morgenstem, *Stufen. Eine Entwicklung in Aphorismen und Tagebuch-Notizen. Gesammelte Werke in einem Band, München, 1977. S. 389*), и в этом смысле предпринятая им милитаризация самой философии была не идеологическим отражением хищнических интересов и т.п. (трафарет, пущенный в оборот Дьердем Лукачем), а почти инстинктивной реакцией на идеологизацию и сциентизацию политики, как таковой: точка, в которой скрестились оба ракурса - *философии политики и философии как политики*. Апокалиптическое видение истории ближайших двух столетий как восхождения нигилизма, крушения всех ценностей, экологических катастроф, одичания психики, растворения политики в духовности, кошмарных войн планетарного размаха, ведущихся во имя основополагающих философских учений, вынуждало его бить в набат и предпочесть гипнотическим хроматизмам Тристана невыносимую какофонию всех разом включенных аварийных сигналов; я рискнул бы даже прояснить в этой связи более глубинную семантику ницшевской брани и оскорбительной неразборчивости в выражениях, столь часто шокирующей «*воспитанный*» читательский слух. Но допустим же, что слова "*идиот*", "*кретин*", "*осел*" или - если угодно - "*индюк*" (ассортимент здесь необыкновенно богатый), действительно неуместные в

любой другой позиции, вполне уместны на поле брани (где, добавим, было бы более чем странным - не браниться); в конце концов лексика подчиняется не только правилам салонной поэтики, но и правилам поэтики катастрофы, и требует от задыхающегося, чтобы он следил за выражениями и демонстрировал мастерство по части эвфемизмов, такой же нонсенс, как отредактировать ветхозаветных пророков (с их не меньшим ассортиментом брани) в духе эстетики классицизма и заставить их выражаться с учтивостью героев Расина. Когда Ницше говорит о переоценке всех ценностей, это значит у него одно: европейская культура достигла порога, за которым прежние ценности не будут уже иметь никакой силы, - наступает тяжелейший этап духовной девальвации, где в роли девальватора выступит само *Ничто* и где *ничем* окажутся былые нравственные, религиозные, научные, социальные твердыни: "Ибо когда истина вступит в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут сотрясения, судороги землетрясения, перемещение гор и долин, о каких никогда еще не грезили... все формы власти старого общества взлетят в воздух" (KSA 6,366). *Futurum* в этом отрывке звучит для имеющих уши как свершившийся факт: *alea jacta est*, жребий брошен, ибо истина уже вступила в борьбу с ложью тысячелетий, и только притупленностью европейского восприятия можно было бы объяснить роковую слепоту, не позволяющую видеть эту уже объявленную, уже развивающуюся, уже необратимую войну, в которой насмерть сшиблись ложь тысячелетий и полуживой пенсионер, проводящий по состоянию здоровья лето в швейцарских Альпах, а зиму на итальянской Ривьере и прозванный хозяйками пансионеров "*il piccolo Santo*", "*маленьким святым*". Ставим точку. Сумасшествие Ницше, где ложь

тысячелетий не погнушалась поглумиться над уже поверженным, оболгав ситуацию и подменив действительную патографию бульварной сенсацией венерического заболевания (тут срывали куш не только газетчики, но и благополучно великий сочинитель трагической истории доктора Фаустуса), более чем понятно именно в этой диспозиции. По крайней мере, так называемая мегаломания. Но если мегаломания сходила с рук, скажем, Наполеону, более того, естественнейшим образом вписывалась в учебники истории, то разве не трижды естественной пристало бы ей выглядеть здесь, где каждая написанная книга оборачивалась такой метафизической победой, по сравнению с которой физические Маренго, Аустерлицы и Ваграмы представляли все еще игрой оловянных солдатиков! Между тем "*действительность*" протекала как ни в чем не бывало: военные лавры доставались победителям битв при Садове и Седане; в центре внимания оказывались Бисмарк и карликовые склоки европейского партикуляризма; характерно в этом отношении проследить метаморфозу отношений Ницше к Бисмарку, от юношеского энтузиазма через холодный скептицизм до "*шума и ярости*" последней осени, - при всей парадоксальности оценки трудно усмотреть здесь что-либо иное, чем *профессиональную ревность*. В свое время издатель Шмейцнер переслал Бисмарку экземпляр "Человеческого, слишком человеческого" - при живейшем внимании Ницше, рассчитывавшего па большой эффект. Эффекта не вышло никакого: Бисмарк учтиво поблагодарил за книгу и посетовал на то, что немецкий текст, набранный латинским шрифтом, столь же утомителен для глаз, как французский текст, набранный немецким шрифтом. Спустя десятилетие в прямой контакт вступил уже сам автор. Вот черновики двух писем, датированных началом декабря 1888 г. и адресованных Бисмарку и Вильгельму II: "Его светлости князю Бисмарку. Я оказываю честь первому государственному мужу эпохи, оповещая его о моей вражде пересылкой *первого* экземпляра "Ессе Ното". Прилагаю второй экземпляр: вручить сей молодому немецкому кайзеру было бы единственной просьбой, которую я когда-либо вознамерился бы поднести князю Бисмарку. Подпись: *Антихрист* Фридрих Ницше. Фромантен". И другое: "Сим я оказываю кайзеру немцев величайшую честь, которая может выпасть на его долю, - я пересылаю ему первый экземпляр сочинения, в котором решается судьба человечества. Здесь начинается мгновение глубочайшего самоосмысления - последствия будут невероятными, они будут просто ужасными; в настоящий же момент установлен паритет всех сил. К счастью также *великое решение*, новый путь, *знаниецели...*" Подпись: Фридрих Ницше (Вг. 8, 504). Пожалуй, наиболее неожиданный резонанс этих писем - поверх всякого рода плоских психиатрических гипотез - заключается в том, что автор их впервые прямым, незашифрованным текстом *выдал* себя и разоблачил свое инкогнито: инкогнито политика и суверена, ведущего истребительную войну в измерении платоновского «*умного места*» под прикрытием целого реквизита масок, в том числе и маски отрицателя названного "*места*" (в целях, должно быть, профилактического маневра - оградить событие от назойливого внимания философских и прочего рода зевак). Кто бы иначе разгадал в этом изысканно учтивом, скромном до робости Herr Professor Nietzsche (скромность которого Вагнер - вспомним - оценивал в сто тысяч марок) беспощадного вершителя судеб Европы и планеты! - Еще один незашифрованный текст: "После того как старый Бог упразднен, я готов *править миром*" (KSA 13,646).

Но именно от этого саморазоблачения и могла бы оттолкнуться мысль к противоположному полюсу самооблачения, или собственно к проблеме ницшевской политики как таковой. Факт незашифрованного текста вынуждает признать в прочих текстах Ницше своего рода *шифрограммы*, ключ к прочтению которых и исчерпывает, строго говоря, все задачи ницшеведения. Трудности и недоразумения коренятся в неадекватной читательской установке на эти тексты; если пришлось бы выводить наикратчайшую формулу непонимания Ницше, то лучшим подспорьем для нее было бы увидеть в нем "поэта" - среди всех предрассудков вокруг Ницше этот оказался, пожалуй, наиболее живучим. Волшебный стереотип, после которого следует "уф" облегчения: поэты - вспомним излюбленный рефрен Заратустры - много лгут... Что Заратустра и сам поэт, не подлежит сомнению, как не подлежит сомнению и то, что он горазд при случае и без

случая отколотить в себе поэта; вообще в распределении культурных ролей Нового времени и на фоне научной монополизации истины с поэзией приключилась скверная история: стало возможным использовать ее как средство в целях умаления или очернения истины, причем - что сквернее всего - под душистым флером комплимента и даже восторга. Вот, к примеру, клише суждения: "Вы рассуждаете об этой проблеме так поэтично, что сразу видно - Вы поэт", в подтексте: "Но поэты много лгут, а поскольку речь идет об истине, то дайте уж нам, простым прозаичным смертным, справиться с нею на логико-методологический лад". Этот иезуитский прием действовал (все еще действует) почти безотказно; Гете-естествоиспытатель, творец органики и учения о цвете, приходил от него в такую ярость, что готов был, казалось бы, послать в себе поэта ко всем чертям - лишь бы избавиться от этого наваждения. В случае Ницше могло бы показаться, что его даже устраивает такая игра - в целях более сохранного инкогнито (переодетый под поэта - *канонир*); но если обратить внимание на коллекцию визитных карточек, ославляемых им повсюду, то первое, что бросится в глаза, - это нарочитая отрицательность, негативность самохарактеристик, как бы невольно имитирующая стиль анофатического богословия: я - ни то, ни другое, ни третье: имморалист, безбожник, безымянный, безродный, бесстрашный - сплошное ускользание от "*кто же*", - антиосел, ни даже человек; в последних письмах апофактика перерастает уже в прямой эпатаж: Цезарь, Феникс, Антихрист, Дионис, Распятый - ни одного "человеческого, слишком человеческого" словечка среди каскада сверхчеловеческого имесловия; вдруг - знакомое уже нам признание в частном письме - "*поле битвы*"; мы же скользим дальше, дегустируя только "*поэзию*" и промаргивая "*правду*" (которая, ну да, прозаична!). Правда - *поле битвы*; в этой метафоре - буквально и фигурально - весь Ницше, одинокий воитель, разыгрывающий в лицах всю табель об армейских рангах, от "*главнокомандующего*" до, если угодно, "*маркитантки*", и начертавший на своем незримом знамени гордый девиз из Сенеки: "Satis sunt mihi pauci, satis est unus, satis est nullus" (Довольно с меня и немногих, довольно с меня и одного, довольно с меня и ни одного. - Seneca. Ad Luc. 7, 11; ср. Nietzsche. Unveröffentlichtes aus der Umwertungszeit 1882/83-1888. Bd 14. S. 352).

В свете сказанного общепринятое деление творчества Ницше на три периода могло бы получить иное объяснение. Период первый, охватывающий "Рождение трагедии" и "Несвоевременные размышления": первая проба боя и выискивание себе союзников ("Общество несвоевременцев"). Период второй (от "Человеческого, слишком человеческого" до включительно первых четырех книг "Веселой пауки"): разочарование в союзниках, испытание одиночеством, перемена тактики, выработка нового плана военных действий. Период третий (все последующие книги, за вычетом, пожалуй, "Заратустры", который в целом не подлежит никакому ранжиру): *тотальная война*. В этом новом раскладе "Веселой науке" принадлежит, очевидно, исключительное место как самой открытой и вместе с тем самой секретной из всех книг Ницше, к тому же самой срединной («*средиземноморской*»), так как соединяющей в себе период тактической подготовки (первые четыре книги) с периодом бесповоротно перейденного Рубикона (пятая книга, открывающаяся эпиграфом из маршала Тюренна: "*Ты дрожишь, скелет? Ты дрожал бы сильнее, если бы ты знал, куда я тебя веду*"). Можно было бы рискнуть воспроизвести на собственный страх и риск некоторые из секретов этой новой тактики, иначе, подобрать ключ к шифрограмме "Веселой науки": 1. Разрыв с Вагнером (единственной надеждой на "*мы вдвоем*") и сближение с П. Рэ, холодным умником и эпатёром никак не укладывавшись в плоские версии байрейтских идеологов и Лу Андреас-Саломе; просто, разочаровавшись в таком, как Вагнер, нельзя уже было не прийти к последнему выводу: союзников не ожидают и не выбирают, их себе *делают*, причем кого попало и как попало, в зависимости от требований момента. 2. Это значило: прочь ложный аристократизм кабинетной политики; настоящая политика делается уже не в политике, и, когда автор "Ессе Ното" называет себя "*последним аполитичным немцем*", это следует читать: первым *политичным* европейцем; порой легче сговориться с вульгарнейшим материалистом, чем с возвышенным чистоплюем; не беда, если тебя при случае сочтут дарвинистом, когда ты загонишь в дарвинистический вытрезвитель иного любителя спиритуальности, - при случае тебе удастся

загнать куда нужно и самого Дарвина. 3. Поскольку театр военных действий охватывал тысячелетия, союзники вербовались как из числа живых, так и из числа *мертвых*; Пауль Рэ - подставное лицо - очевидно, представлял интерес не сам по себе, а как отдаленное подобие более значительной фигуры прошлого, скажем аббата Галиани ("mein verstorbener Freund", "мой умерший друг", говорит о нем Ницше KSA 11,427; было бы крайне желательным, для пользы понимания, воспринимать эти слова в буквальном смысле). 4. Измена метафизическим идеалам и братание с позитивизмом оказывались всего лишь идеологической завесой, за которой имела место передислокация сил и перемена тактики. Тактика "Несвоевременных размышлений" еще *наполеоновская*: "On s'engage, et puis on voit" (Сначала ввязываешься, а там видно будет); преимущества этой тактики в условиях средневропейской метрической геометрии оборачивались дефектами в условиях, скажем, российской векториальной геометрии - ввязываться со всеми шансами на успех можно было в обратимых и упруго-рикошетных пространственных клочках городской европейской географии; в необратимом и нерезонирующем пространственном вакууме России это значило - навсегда завязнуть. Наполеон - первоклассный образец для подражания там, где речь шла о Давиде Штраусе и европейском филистерстве, - становился опасным в растяжке линии фронта до "*человеческого, слишком человеческого*"; здесь предпочтение отдавалось тактике Баркляя де Толли: reculer pour mieux sauter (отступление для лучшего прыжка). 5. Ницше среднего периода - сплошное эшелонированное отступление и тактика выжженной земли. Первые пробы привить себе нигилин и жесточайшая реакция организма, изнеженного в метафизически-артистическом сибаритстве. "Человеческое, слишком человеческое", "Утренняя заря" - капитуляция юношеского идеал-героизма и военная переподготовка. Реорганизация армии и переход от классического мольткеевского типа к иррегулярным ситуативным комбинациям. 6. Непременнейшие условия переподготовки: армия должна быть *веселой и танцующей*. Петь на поле боя - не в этом ли таилось фатальное превосходство кромвелевских *ironsides*, распеваящих псалмы под свирепыми атаками кавалеров? Правило устава номер один: "Ни одна вещь не удастся, если в ней не принимает участия задор" (KSA 6,57). Танцевать перед несметными полчищами, верить в танцующего Бога, быть, как Заратустра, легким, машущим крыльями, готовым лететь, манящим всех птиц, проворным, блаженно-легко-готовым, любящим прыжки и вперед и в сторону - через города и страны, то здесь, то там, в динамическом фокусе всевропейской всюдности, заманивая противника, скажем, в местечко Верхний Энгадин и спустя мгновение нанося удар из, скажем, Генуи, а главное, никогда не задерживаться на месте, гнать себя со всякого рода засиженности, чтобы сохранять форму и... защищаться от головной боли (терапия Юлия Цезаря, по Плутарху), - историки отметят все это как вклад принца Фогельфрай в сокровищницу военного искусства. 7. Один пример ницшевского ведения боя: маленькое сочинение "Сумерки идолов", по сути все та же "Веселая наука" *in praxi*. Предисловие - краткое воззвание к войскам, своею рода "*quarante siecles vous regardent du haut de ces pyramides*" (сорок :веков взирают на вас с высоты этих пирамид). Потом молниеносная стрельба из луков - или артподготовка, на вкус - раздела "Изречения и стрелы". Вслед за этим ритуальный акт единоборства ("Проблема Сократа") и уже не стихающая серия атак, причудливо комбинирующих классическую батальную топикку (*testudo* раздела "Четыре великих заблуждения") с маргинальными капризами самой закоренелой партизанщины (робингудовские засады в разделе "Чего недостает немцам") - "веселость в нас - самое непостижимое" (KSA 6,106). Мобилизован не только европейский опыт, но и азиатский; раздел "Набеги несвоевременного" - содрогающий конский топот с комьями взрыленной, взлетающей земли на фоне тяжелых и кажущихся неприступными европейских бургов, настоящая деструкция маркированного европейского пространства смертоубийственным агеометризмом скифско-гунно-монгольских табунов, казалось бы перенявших повадки гончих псов и загоняющих дичь "*белых братьев*", "Антихрист" и особенно финал "Ессе Homo" предвосхитят уже будущую тактику *безрезервных боев* Роммеля в Северной Африке - "Das Werk auf eine Katastrophe hin bauen", битва в расчете на катастрофу; строго говоря, хотя и разбитый наголову, он не ошибался,

ибо только такой расчет и давал единственный шанс на победу в схватке с ложью тысячелетий (в раскатах ближайшего будущего - вспомним оценку лорда Кромера - с "*Антантой*").

## СЕДЬМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Ницше заблуждался (пусть по неведению), называя себя - в цитированном письме к Овербеку от 30 апреля 1884 года - самым независимым человеком в Европе. Ибо уже тогда он лишь вкушал плоды этой на скорую руку приписанной себе независимости, не подозревая даже, что, во-первых, рождение ее датируется 1845 годом и что, во-вторых, она лишь с начала восьмидесятых годов - стало быть одновременно с возникновением "*Веселой науки*" и "*Так говорил Заратустра*" - вступила в пору совершеннолетия. Два имени должны быть названы здесь: *Макс Штирнер* и *Рудольф Штейнер*. На фоне этих имен независимость Ницше со всем ее пафосом и внушительностью оказывается, строго говоря, независимостью некоего *действующего лица*, вообразившего себя в самом разгаре драмы ее *автором* и *постановщиком*. Не подлежит сомнению, что ранние труды Штейнера (введения и примечания к естественнонаучным трудам Гете, выходящим в Кюршнеровском издании с 1882 года, и датированный 1886 годом "*Очерк теории познания гётевского мировоззрения*") остались ему неизвестными, чего, впрочем, нельзя столь же уверенно сказать и об одиозном авторе "*Единственного и его достоинства*". В штейнеровской книге о Ницше (1895) параллель эта впервые подчеркивается со всей силой: "Нельзя говорить о развитии Ницше, - формулирует Штейнер, - не упомянув самого свободного мыслителя, которого породило современное человечество, Макса Штирнера. Печально сознавать, что этот мыслитель, который в полном смысле соответствует тому, что Ницше требует от сверхчеловека, лишь немногими был узан и оценен по достоинству. Уже в сороковых годах этого столетия он высказал мировоззрение Ницше, пусть не в столь насыщенных сердечных тонах, как Ницше, зато в кристально ясных мыслях, рядом с которыми ницшевские афоризмы часто производят впечатление какого-то лепета" (R. Steiner, Friedrich Nietzsche. Ein Kampf gegen seine Zeit, op. cit, S. 122). Отсюда вытекает поистине судьбоносный вопрос, можно было бы сказать - решающий для всей судьбы Ницше конъюнктив: "Как сложились бы пути Ницше, если бы его воспитателем стал не Шопенгауэр, а Макс Штирнер!" (Ibid). Если бы мы таким образом вместо третьего "*Несвоевременного размышления*", "*Шопенгауэр как воспитатель*", имели некое на сей раз вполне *своевременно* размышление, "*Штирнер как воспитатель*"? Вопрос этот оказывается фундаментальным уже по той очевидной причине, что пути соблазненного филолога никак не были путями его обоих воспитателей (Шопенгауэра и Вагнера), но именно путями неузнанного автора "*Единственного и его достоинства*". Нет никакого сомнения, что ни Шопенгауэр, ни Вагнер не могли быть путеводителями там, где дело шло о взыскуемой Ницше свободе: предельные возможности обоих (спотыкающийся об артистическую героиню пессимизм в случае Шопенгауэра и распыляющееся в сплошную театралику германство в случае Вагнера) были достигнуты и исчерпаны в юношеской книге о "*Рождении трагедии*". Вся поздняя ницшевская ярость, обрушившаяся на обоих кумиров юности, становится понятной именно в этой оптике. Здесь неистовствует разочарованный, внезапно догадавшийся, что оба по-началу обожествленных наставника не только не имеют никакого представления о масштабе и размахе его задачи, но и оказываются серьезными помехами на его пути. С момента появления "*Человеческого, слишком человеческого*", стало быть, после сведения счетов с обоими искусителями, Ницше уже окончательно идет путями Штирнера, судорожно цепляясь за каждую соломинку в водовороте этого "*испытания водой*". Сюда относится посвящение Вольтеру, как и явная тяга ко всему скептическому и циничному. Тягостно наблюдать усилия этого "*головореза духа*", ищущего себе союзников и единомышленников из страха остаться один на один с ничто: от сомнительного Пауля Рэ вплоть до "*счастливых находок жизни*" - Стендаля и Достоевского. Путь развития Ницше ко времени объявления им своей независимости являет собой мучительную картину блужданий по континенту открытой Максом Штирнером свободы, без какого-либо более или менее надежного ориентира. Ничего удивительного, если последнее, на что он мог еще положиться, было



переключить ежесекундно грозящую взорваться машину на *автопилот стиля*, в надежде придать ей хотя бы видимость равновесия. Сильнейший люциферизм его прорывов, создающий вокруг него некое антигравитационное поле, непрерывная потребность *пасть вверх* ("В том моя бездна и опасность моя, что я срываюсь в эту высь, и все же не в вашу глубину" KSA O, 379), то, что Гастон Башляр в красочном анализе ницшевского стиля охарактеризовал как «альпинистическую психику» (G. Bachelard, L'air et les songes. Chap. XV: Nietzsche et le psychisme ascensionnel, Paris 1943), все это провоцировало интенсификацию обратного полюса, как бы наличие в машине стиля некоего реле, переключающего ее всякий раз на режим вытрезвляющего цинизма и заземления, когда обычный режим "*срывов в высь*" грозил непоправимыми последствиями перегрева. Этому закоренелому праведнику, отмахивающемуся от своей праведности как от наваждения, не терпелось выставить себя таким прожженным циником и сатиром; во всяком случае на каждое "Incipit tragoedia" у него припасена достойная гримаса "Incipit parodia", не дающая ему вконец оторваться от земли и изжить реминисценции прежней инкарнации. Рецепт стиля Ницше:

В порыве чистом миг урви  
Себе на размышленье;  
Прикинь: на килограмм любви  
Чуть-чуть самопрезренья  
(KSA4, 275) -

(притом что необходимым компонентом "*самопрезренья*" оказывалось - и уже отнюдь не в пропорции "*чуть-чуть*" - просто богохульство) расшифровывался двояким образом: стилистически это сулило несомненные выигрыши ("*лучший артист языка*"), убытки списывались на счет личных судеб; этот рискованный гомеопат познания, разводящий в себе "*килограммы любви*" опаснейшими дозами кощунства, казалось бы, прошел мимо рокового предостережения Мейстера Экхарта о том, что "*капля твари вытесняет Бога*". Не научил его этому и Достоевский; в наследии Ницше сохранился подробный конспект отрывков из "Бесов" - решающий отрывок все же остался ему неизвестным: изданная уже десятилетия спустя "исповедь Ставрогина", то самое место, где Тихон советует остолбеневшему автору "подправить слог" своих признаний.

Именно здесь и выпирает все значение сформулированного в штейнеровской книге о Ницше вопроса: Как сложились бы пути Ницше, если бы его воспитателем стал не Шопенгауэр (и без сомнения также и Вагнер), а автор "Единственного и его достояния"? Если, стало быть, все его предприятие равнялось бы не на музыку, а на соответствующую стилистику и осанку? Достаточно открыть любую страницу штирнеровской книги, чтобы увидеть, какими языковыми средствами осиливается здесь задача. Неартистично, сыро, подчас в топорных подачах квадратной патетики - пусть так; но при всем том строго и с железной последовательностью, как это впрочем и подобает бывшему выученику Гегеля. Штирнер камень за камень сносит ценностные твердыни двух с половиной тысячелетий, действуя то как крот, то как таран, и нисколько не заботясь об эстетических неприглядностях своего предприятия. Его конечная цель абсолютно идентична с конечной целью Ницше; но там, где последний надеется обойтись элегантно афористической шпагой, он держит в руках молоток. Последнее впечатление от творений Ницше: много шума из ничего. Анонс Ницше: "Мы эмансипировались от страха перед разумом, этим призраком 18 века: мы смеем вновь быть лиричными, абсурдными и мальчишески озорными... одним словом: мы есть музыка" (KSA 12, 514). Очень сомнительный оптимизм: с таким настроением не идут на дело, того менее притязают быть Богом... Штирнер подписался бы, пожалуй, лишь под первой частью этого признания, разумеется не от «*нашего*» имени; в штирнеровской редакции все предложение звучало бы примерно следующим образом: "Я эмансипировался от страха перед разумом, этим призраком 18 века: я смею теперь извлечь из этого свои последние выводы". Предположив, что Ницше смог бы применить к сочинению Штирнера то же слово, которое он позже обронил о своем

"Рождении трагедии": "От него разит неприлично гегелевским духом", можно сказать, что продолжение этой самохарактеристики как нельзя точнее соответствовало бы его собственной философии: "она в ряде формул отдает трупным запахом Шопенгауэра" (KSA 6, 310).

Трагедия Ницше в последней своей глубине выявляется в свете, падающем на нее из книги Штирнера. Он был лириком штирнеровского мировоззрения, по существу лишь неким бездомным странником в мире, где шопенгауэровско-вагнеровская прописка не имела никакого значения, более того, где не может быть никакой иной прописки, кроме той, которую назначает себе сам истец. Случай Штирнера оттого и был замолчан или оболган современниками и потомками, что решающаяся здесь задача требовала такой смелости и независимости мысли, для которых до сих пор отсутствовал какой-либо орган восприятия вообще. Западная философия выносит себе в Штирнере смертный приговор; ее кульминацией оказывается вовсе не платоническая идея, не антиплатоническая материя, а - *ничто*. В свою очередь *ничто*, как единственная ставка Штирнера, является не причудой нигилиста, а судьбой самой логики в момент скрещения последней с антропологией, при условии что антропология имеет точку опоры уже не в логике, а в некоей репрезентативной и воплощенной человеческой экзистенции. Ничто Штирнера - синоним некоего (отнюдь не фихтеанского) "я", и если это "я" познает себя как таковое, то ничто оказывается уже не субстанцией его, а вытесненным в сознание бессознательным. Темой антропологии, а вместе с ней и логики, назначает себя таким образом чье-то конкретное "я", не абстрактно измышленный «человек» аристотелевско-хайдеггеррианской традиции, а некий господин NN, при случае смогший бы назваться Гансом Мейером, Фрицем Мюллером, Максом Штирнером или Фридрихом Ницше, если бы случай звался - *сознание и познание*. Штирнер: "Понятийный вопрос: "что есть человек?", преобразовался в личный: "кто есть человек?" При "что" искали понятие, чтобы реализовать его, при "кто" вопрос этот отпадает сам собой, так как ответ лично явлен самим спрашивающим: вопрос сам отвечает за себя" (M. Stirner, *Der Einzige und sein Eigentum*, Stuttgart 1991, S. 411 f). Но это значит: Основной вопрос всякой философии, и да: всякой жизни, есть отныне не Бог, человек, материя, дух и как бы эти кимвалы бряцающие еще ни назывались, но единственно - Я, причем: неЯ-оно, а Я-он, именно Иоганн Каспар Шмидт, преобразовавший себя в Макса Штирнера, чтобы стряхнуть с себя и этих последних эриний родовой памяти. Нигилизм Штирнера - это не «нигилин» не "жуткий гость", а только аттестат зрелости некоего названного Я, возможности которого не допускают в перспективе иного выбора, чем: нести старое "я будете как Боги" уже не на кончике языка, а как жизненную задачу.

Говоря доступнее: Старый мир Пятикнижия снят и сведен к ничто. Соответственно: старое творение, человек, стоит перед выбором: прозябать в ничто и как ничто либо же стать творцом из ничего. Единственная вакансия бытия, на которую, стало быть, можно еще рассчитывать в этом упраздненном и убаюкиваемом иллюзиями мире, есть вакансия некоего миротворческого "кто". Если это "кто" (этот "кто") не отождествит себя со случаем и не вступит (как случай) в свои права, то мир Божий уподобится незавершенной и брошенной литературной рукописи, чья участь - желтеть и стать добычей моли. Характерно, что до сих пор творческое ограничивалось преимущественно сферой искусства; но даже и Шекспир выглядит по сравнению с предстоящей задачей, где единственным сырьем вдохновения оказывается Вселенная в судьбах развития, все еще как черновик. Вопрос вопросов: Кто из живущих способен занять эту вакансию?

В эту черную яму попал Ницше, чье юношеское вдохновение Шопенгауэром и Вагнером по сути предназначалось исключительно автору "Единственного". Об этом говорил и пел его Заратустра. Отсюда настигли его его семь одиночеств. Иначе, подчас до неузнаваемости иначе, чем Штирнер, дает он взойти в себе нигилизму: неповторимый в твердом шаге языка, спотыкающийся в лабиринтах мысли. Все, о чем и из чего он кричит, весь клубок его проклятых проблем - от безбожия до воли к власти - упирается, как в тупик, в штирнеровский вопрос "кто". Его Дионис, чьим последним учеником он себя считал, кажется прошел уже сам инициацию у Штирнера: "По-

моему, ты замыслил нечто более скверное! - вмешался я. - Уж не хочешь ли ты угробить человека!" - "Может быть! - ответил Бог. - Но так, чтобы при этом он выгадал для себя нечто!" - "Что же?" - спросил я с любопытством. - "Кого же, следовало бы тебе спросить!" Так говорил мне Дионис" (KSA 11, 482f). Решительный поворот от Шопенгауэра к Штирнеру запечатлен в последнем предложении "Генеалогии морали": "*Человек предпочтет скорее хотеть ничто, чем ничего не хотеть*" ("Вздор!", должен был бы вписать сюда карандаш "*редактора*" Штирнера: "*Скорее предпочту это я.*") Лучше и не может быть сказано: Шопенгауэр *не* хочет, Штирнер *хочет ничто*. Чего хочет Ницше? "Вас назовут истребителями морали, но вы лишь изобретатели самих себя" (KSA 10, 212). Nota bene: он не говорит: "*открыватели*", но именно "*изобретатели*". Открывать здесь уже было нечего, здесь надо было изобретать себя. Итак, кто же есть Фридрих Ницше?

Различие бросается в глаза: Штирнер может ответить на этот персональный вопрос в полном сознании и без всякой эйфории. Ницше осмеливается на ответ уже в безумии: наконец-то приобретенная идентичность умалишенного, останавливающего прохожих на улицах Турина, хлопающего их по плечу и изобретающего, на потеху им или на сострадание, свое инкогнито: "*Я есмь Бог, я лишь переоделся так, чтобы приблизиться к людям*".

В этом пункте исповедальное письмо от 30 апреля 1884 года ("Теперь я с большей долей вероятности, *самый независимый человек в Европе*") оказывается отнюдь не столь уж вероятным. По сути это место должно было бы быть прочитано так: я перенимаю обязанности вышедшего на пенсию Бога (стало быть, не в - все еще безнадежно стилистической - тональности "*смерти Бога*", но в согласии с более объективной констатацией Леона Блуа: "Dieu se retire"). Но этого-то именно и не говорит он 30 апреля 1884 года; как раз наоборот: он заигрывает все еще тут и там в частных письмах с непреодолимыми остатками идолов традиции (в уже знакомой нам параллели со своей русской, раскольниковской, жизнью: «*Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку!*»). И лишь в маске помешанного, уже как помешанный решается он назвать вещи собственными именами... Если нам удастся устоять перед дешевым соблазном литераторско-психиатрической болтовни, то мы столкнемся с вопросом: Что это собственно значит, если истина доводит до безумия и отождествляется с безумием? И разве же не это утверждали все церберы ветхих ценностей, от Ломброзо до обоих Маннов? Безумие Ницше, по существу его провал по специальности *Макс Штирнер*, кульминирует отнюдь не самый героический и мученический пункт его жизни, как это десятилетиями пропагандировалось мифологией Архива Ницше, но пожалуй наиболее буржуазный и обывательский; здесь лишь лилась вода на мельницу Ломброзо и всякого рода философских сценаристов. Что свело его с ума, было не истиной его, а ее торможением в наветах традиции. Истину нес он в себе и дал ей единственно приличествующее выражение: *Искупление может быть реальным только как творческий акт*. Ловушка лежала тем временем как раз в этом акте. "*Стилист*" Ницше подвел "*творца*" Ницше; "*самый независимый человек в Европе*" рассчитывал утвердить свою независимость на зыбкой почве артистических парадоксов, всё еще в старой тональности "Поэзии и правды". Новая - во всех отношениях новая и современная ему - тональность, "Истина и наука", осталась ему недоступной.

Эпохальный труд под заголовком "Истина и наука. Прелюдия к Философии свободы" увидел свет лишь через три года после умопомешательства Ницше. Фактически он был налицо уже с начала восьмидесятых годов. С 1882 года, и значит синхронно с танцами принца Фогельфрай, 21-летний студент Рудольф Штейнер начинает осваивать континент Макс Штирнер под знаком гетевского естествознания, в перспективе преобразования штирнеровского Ничто в - духовный мир. С момента появления первого комментария Штейнера к Гете переоценка всех ценностей регулируется не из Сильс-Марии или Ниццы, но из Вены; мир Штирнера, в котором бессознательно передвигался Ницше, переходит под ответственность молодого философского дебютанта Штейнера, и мнящий себя "*самым независимым человеком*" поэт Заратустры

оказывается в зависимости от действительно *самого независимого*, который с удивительной основательностью и легкостью, прежде всего однако со свободной от всякой мечущей грома и молнии стилистики, ниспровергал на деле именно то, о чем Заратустра только пел... Еще раз и со всей ясностью: Предположив, что преходящее в последней своей несводимости есть не что иное как подобие различнейших состояний сознания, придется признать, что проблема Штирнер значима лишь под тройким углом зрения. Именно: можно жить в ничто, не имея равным счетом никаких притязаний на независимость, и, следовательно, мотая срок жизни от рождения до звонка смерти. Или: можно жить в ничто, сознавая это, больше того, пытаюсь преобразовать ничто в себе в состояние независимости, и - споткнуться при этом о собственную неспособность. Или наконец: можно жить в ничто, стать ничем и никем, воплощенной свободой от всего, и употребить свою свободу на то, чтобы при случае захотеть сотворить мир. Понятно, что все три состояния суть *состояния сознания* и реализуются в зависимости от соответствующего уровня сознания. Вопрос, что есть мировой процесс, некорректен и бесперспективен; ответ на него ищется на скорую руку в учебных пособиях и газетных листках. Мировой процесс - это сознание, или, с точностью указательного пальца, некое конкретное человеческое сознание ("Ессе Номо!"). Ну да, то самое уже названное "кто", мировая вакансия которого со времен Макса Штирнера предназначена "*единственному*". Если "*единственный*" займет эту вакансию, то это означает: мировой процесс отождествился с его сознанием. Это значит: мир происходит, свершается в этом индивидуальном сознании и *как это* индивидуальное сознание. К моменту, когда был дописан Заратустра, "*единственный*" был уже налицо, и то, что Заратустра опрометчиво приписывает эту привилегию себе, было лишь ошибкой по неведению; также и его собственное свершение, под знаком "Так говорил Заратустра", как нечто принадлежащее миру, свершалось sub Jove некоего другого сознания, хоть и не вошедшего еще полностью в свои владения и, стало быть, не стоящего еще в ответе за каждый случающийся здесь срыв, зато уже облачившего себя полномочием. *Это сознание - сознание Рудольфа Штейнера*. Книга "Очерк теории познания гетевского мировоззрения" вышла в свет в 1886 году. Одновременно - и не пробужденные еще в этом сознании - появляются ницшевские рикошеты от этого сочинения: "По ту сторону добра и зла", "К генеалогии морали", "Сумерки идолов". Встреча с ними имеет место лишь в 1889 году, сразу же после ницшевского срыва, когда молодой господин мира начинает осваивать этот материк своего сознания, именуемый в миру "философией Ницше". Вывих Ницше будет вправляться здесь около десяти лет (параллельно с дискредитацией его на земном плане, где «*базарные мухи*» уже начнут слетаться на товар). Первый пункт осмысления - самопознание: "Когда за шесть лет до этого я познакомился с трудами Фридриха Ницше, во мне уже были выработаны идеи, схожие с его идеями. Независимо от него и иными путями, чем он, пришел я к воззрениям, созвучным с тем, что Ницше высказал в своих сочинениях: "Заратустра", "По ту сторону добра и зла", "Генеалогия морали" и "Сумерки идолов". Уже в моей, вышедшей в 1886 году книжке "Очерк теории познания гетевского мировоззрения" выражается тот же строй мыслей, что и в названных сочинениях Ницше" (R. Steiner, Friedrich Nietzsche. Em Kampf gegen seine Zeit, S. 33). Книга "Фридрих Ницше, борец против своего времени" становится актом самоидентификации; удивительное своеобразие этого маленького и объемлющего труда в том, что пишет его не кто иной, как Фридрих Ницше, смертная оболочка которого к тому времени была уже выставлена как музейный экспонат в его веймарской комнате, и пишет уже не под бессознательным диктатом *машины стиля*, а в полном здравии, *без малейшего шанса сойти с ума*. Здесь - спокойно и объективно, без дионисических издержек, с прививкой от Тристана, вплоть до поименного признания Макса Штирнера, до демифологизации собственных идей, до осмысления себя как выскочки и самозванца, которому приспичило вести себя так, словно он имел бы уже за собой некую "Философию свободы", - навёрстывается упущенное. Короче: старая исконная мечта стать изобретателем самого себя осуществилась наконец, спустя шесть лет после потери самого себя: в Рудольфе Штейнере изобрел себя Фридрих Ницше, заново пройдя свой путь - на сей раз не под шопенгауэровско-вагнеровским опекунством, а в вытрезвляющем режиме гете-штирнеровской атмосферы: в "Философии свободы".

Искушение пришло позже, в кармических лекциях 1924 года, где изобреталась уже не "личность" Фридриха Ницше, а «индивидуальность» Фридрих Ницше, "духочеловек" Ницше.

Туринская катастрофа этого прогуливающегося в студенческой тужурке и весело эпатирующего прохожих Бога теряет наконец свою фельетонистическую окраску и протекает имманентно: Он и в самом деле ухитрился настолько форсировать ход вещей, как если бы им была уже написана не только "Философия свободы", но и "Теософия". Ницше 1888 года полагал возможным действовать из атмосферы 1904 года, стало быть как *субъект мирового процесса*. Последние почтовые открытки, сочиненные уже в помраченном сознании, однозначно свидетельствуют об этом: "После того, как безоговорочно выяснилось, что я самолично сотворил мир, в мировом плане предусмотренным оказывается и друг Пауль..." Совершенно независимо от того, какие догадки мог бы строить себе в связи с этой очевидностью "*друг Пауль*", одно и в самом деле кажется безоговорочным: так может говорить только творец, который, заметим однако, никогда и ни при каких обстоятельствах так не говорит... Или еще одно знакомое место: "Я Прадо, я также отец Прадо, я осмеливаюсь сказать, что я также и Лессепс... Я также Шамбиж... Хотя это неприятно и претит моей скромности, но я в сущности есть каждое имя в истории... Этой осенью я дважды присутствовал при моем погребении, сначала как граф Робилан (- нет, это мой сын, поскольку я Карло Альберто...), но Антонелли был я сам..." Это разорванное сознание агонизирует в извечном здесь-и-теперь-состоянии мира, из которого вышли книги "Теософия" и "Тайноведение". Психиатрическая значимость цитированного бреда бросается в глаза. Менее очевидна иная значимость его, то именно, что на языке духовной науки именуется "*точкой зрения независимой объективности*" ("*как если бы мы были орудием речи другого существа*"). Старый технический термин оккультизма для этой точки зрения есть: *tat tvam asi, это ты*. Ее новое обозначение: *интуиция*. Безумие Ницше - это состояние Я, в котором Я, иначе, точка в круге мира, расширяется до мира и теряется в мире; из обоих равномошных возможностей помешательства - точка без круга, круг без точки - Ницше настигла именно вторая, в то время как первая, как более распространенная, все еще простодушно считается нормальной. В интуиции, напротив, оба полюса сливаются воедино, не растворяясь друг в друге: точка как круг и круг как точка. Ангел Силезский чудесно выразил это в следующих строках: "Я не знаю, кто я емь, я не емь то, что я знаю: вещь и не-вещь, точка и круг". Характерно для этой интуиции, что она, будучи не только здоровой, но определяющей норму самого здоровья, может выступить лишь в том случае, если формой ее является *абсолютное присутствие духа и сообразность действительности*. Иначе она (по сути уже не она сама, а ее карикатуры) сразу же соскальзывает в зону психиатрических компетенций. Ницшевское безумие, точнее то, что в Ницше обернулось безумием, было *преждевременной интуицией, интуицией, выступившей до срока*. Его попытка стать Богом, обеззараженная от всяческой театралтики и романтики и, следовательно, впервые ставшая возможностью, должна была называться: состояние души (философски: Души Мира) *до* сотворения мира. Иными словами: Единственный уясняет себе свое доподлинное достояние, противопоставляет себя миру идей как автор и господин их и дает *случаю* вступить в свои права, дабы потомки могли позже философствовать о *необходимости* своего бытия. Любителям Ницше и Достоевского следовало бы принять это к сведению и поразмыслить о том, сколь иные, ничуть не психиатрические, возможности могли бы скрываться в этом безумном лепете: "*Я каждое имя в истории*"...